ДМ. ФУРМАНОВ

IV

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 9

ДМ. ФУРМАНОВ

ЗА КОММУНИЗМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 9

ДМ. ФУРМАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1·9.2·9 ЛЕНИНГРАД

ДМ. ФУРМАНОВ

ЗА КОММУНИЗМ

ИЗДАНИЕ
ТРЕТЬЕ

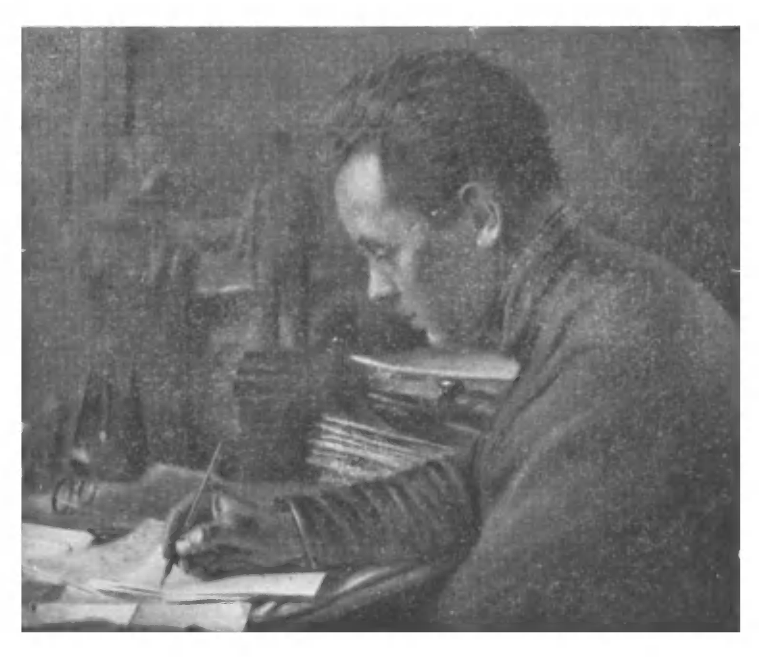
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
АННЫ ФУРМАНОВОЙ

С ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
ВЯЧЕСЛАВА ПОЛОНСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1·9·2·9 ЛЕНИНГРАД



Х, 20. Гиз № 28586/м.
Ленинградский Областлит № 17626.
$17^{3}/_{4}$ п. Тираж 10 000.



ДМ. ФУРМАНОВ ЗА РАБОТОЙ
(последний портрет).

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Большая часть произведений, вошедших в IV том собрания сочинений Дм. Фурманова, появляется впервые в печати. Сюда относятся отрывки из незаконченных произведений и беглые зарисовки. Критические статьи были напечатаны в свое время в журналах. Большинство очерков не были окончательно обработаны автором и являлись материалом для задуманных книг.

Анна Фурманова.

30/VIII 1926 г.



ФУРМАНОВ

I. ПИСАТЕЛЬ

I

Он вошел в литературу неторопливо и как бы неожиданно, но продвигался вперед без остановки. Фурманов не привлек внимания своими первыми вещами; его дарование расцветало медленно. А. С. Серафимович, сам чуткий мастер слова, правильно замечает, что автор «Чапаева» не принадлежал к художникам, вспыхивающим подобно бенгальскому огню, но столь же быстро погасающим: его огонь, незаметный вначале, разгорался все более ярко — и только смерть остановила его дальнейший рост.

Начал Фурманов писать еще до гражданской войны. Но первые вещи его были наивны, неуверенны, не обнаруживали в авторе той сдержанной силы, какая отличила его позднейшие произведения. Его талант был разбужен гражданской войной: Фурманов, как писатель, всем обязан революции. Он кружил с отрядами Чапаева по Уралу, водружал знамя пролетарской революции в далеком Семиречьи, многократно глядел в глаза смерти, выпил из чаши жизни много испытаний такой исключительной силы, которая сваливала не одного комиссара. Фурманов уцелел. Он вернулся из боя

закаленным, еще более крепким, чем прежде, разве лишь взгляд его стал упорней, и какой-то внутренний блеск, светившийся в его зрачках, сделался ярче и настойчивей. Столь же молчаливый, как прежде, казавшийся скрытным, скромный и тихий на редкость — он принес с собой огромный запас впечатлений. Вот эти-то впечатления, кровавый опыт жизни, подаренный ему революцией, преобразили его творчество: он нашел свой материал.

Верил ли Фурманов в свои силы как художника? В последний год жизни — да. В эпоху своих первых писательских опытов, даже во время написания «Красного десанта» — нет. Его самого поразил успех, выпавший на долю «Чапаева». Он казался ему незаслуженным, случайным. Но успех был прочный и долгий. Писательский путь Фурманова был определен.

Друзья Фурманова, лучше, чем я, его знавшие, нарисуют нам его облик. Мне, в продолжение двух лет сталкивавшемуся с ним в совместной работе, хочется отметить лишь одну черту, отличавшую этого человека: скромность. Фурманов был «красный герой», кавалер ордена Красного Знамени, но не кичился этим; «Чапаев» прославил его имя, но это на Фурманове нисколько не отразилось: ни тени самодовольства, ни малейшего налета пошлости, который всегда густо покрывает лица любимцев славы. Вокруг него кипела борьба уязвленных самолюбий, — он был спокоен, ровен, и интересы литературы волновали его больше, чем его собственные интересы. Маленькие дарования с большими претензиями заносчиво и шумливо забирались на «командные высоты» — Фурманов, большой талант, уступал место, ибо знал хорошо, что пузырь, даже очень большой, лопнет рано или поздно. Но если он брался защищать какое-нибудь дело,

то дрался крепко, стиснув зубы, не щадя ни друзей, ни врагов; был он человек большой воли и настоящей большевистской выучки. Годы гражданской войны оказались для него великой школой.

II

Сам Фурманов «Чапаева» назвал «очерком». «На признание художественности отделки не претендую», — добавлял он несколькими строками ниже. И говорил это не из скромности, но убежденный, что «Чапаев» и в самом деле вещь не ахти какая, составленная «по материалам записной книжки и некоторым личным воспоминаниям». Но едва начинаешь читать этот непритязательный очерк — перед глазами возникают картины гражданской войны, и бескрайные уральские степи, и военные эпизоды, заставляющие быстрей бежать кровь, и многое множество людей, живых, разных, запоминающихся, и среди них центральная фигура Чапаева, лихого партизана, революционера, вождя, сделанного мастерски, до мельчайших черт, освещенного с разных сторон, не по методу суздальской иконописи, с одних лишь казовых сторон, — но приемами настоящего художника, бросающего на портрет свет и тени, чтобы подчеркнуть, выпуклить, приблизить к зрителю человеческое лицо, не сочиненное, но живое, со всеми характерными чертами, дурными и хорошими.

Фурманов не только вспоминал, не только рассказывал — но *изображал*, лепил фигуру за фигурой, набрасывал одну сцену за другой, *картину* за картиной, — оттого-то «Чапаев» оставляет в читателе яркое представление о боевой страде, о величественном и низком, прекрасном и безобразном. Отдельные черты Чапаева разбросаны по всей книге. Не

упущены ни яркие, бросающиеся в глаза, ни интимные, едва заметные, которые делались явными лишь при близком знакомстве. Фурманов характеризует Чапаева в мирное время и в бою, за дружеской беседой и в момент ссоры, в минуты высокого революционного под'ема, и в минуты слабости, когда на лице героя проступали черты самодовольного, падкого до похвальбы человека, снедаемого честолюбием. Эта нерасторжимая связь великого и малого, из чего состоит живой человеческий лик, когда он получает художественное воплощение — все подметил и показал в Чапаеве Фурманов вплоть до ревнивых опасений, как бы не затерли его «штабные» стервецы.

Чапаев — центральная фигура. Его именем названа эпопея. Но разве можно проглядеть, что Чапаев — лишь один из множества, каких выдвинула народная масса. Чапаев — герой, но его черты повторяет рядовой партизан и красноармеец. Не потому ли Чапаев и оказался героем этой массы — что был, в сущности, лишь самым ярким, самым толковым, самым образцовым ее представителем. Чапаев — вождь множества. Но и самое «множество» также схвачено Фурмановым.

Подобно Чапаеву, красноармейская масса показана Фурмановым в бою, идущая на смерть, и после боя, погрязшая в «малых» делах. Фурманов не умалчивает о том, как в моменты передышек место героического бойца занимал иной раз человек с сумбуром в голове и темными инстинктами. Он показывает нам передовых представителей красноармейской массы и ее самые отсталые образцы. В «Чапаеве» они показаны в моменты героических боев. В «Мятеже» мы видим массу в период послебоевого разложения. Но в обеих

вещах толпа живет, дышит, — многоглавая, нестройная, устремленная к одной большой цели — в «Чапаеве», разбредающаяся в стороны, легковерно идущая на провокацию, задорная и хмельная от власти — в «Мятеже». И в «Чапаеве», и в «Мятеже» мы видим в авторе художника, который показывает нам сложнейшее и многообразное явление, но показывает с простотой, без ухищрений и натяжек, не боясь взглянуть правде в глаза, не отвращая от нее взора. Если в «Чапаеве» центром внимания была фигура вождя, а масса играла роль фона, то в «Мятеже» мы видим обратное: центр внимания заняла масса — и пусть кто еще из современных прославленных наших беллетристов попытается так, как это сделал Фурманов, изобразить медленное нарастание взрыва, постепенное распространение в массе недовольства, неуклонное и неизбежное назревание восстания. Набрасывая картину за картиной, выводя на сцену одного участника мятежа за другим, одну толпу за другой — Фурманов создает огромное полотно, большую повесть о восстании, которая — свыше четырехсот страниц! — читается с интересом неослабевающим и врезается в память надолго.

III

Многие из тех, что требуют от искусства беспристрастия, замечают, что так называемого «объективизма» у Фурманова нет. С первых же страниц заметно, на чьей стороне симпатии автора. В этом видят критики большой грех, преступление против художественности. Ну, что ж, примем этот упрек. Да, Фурманов не беспристрастен. Но Фурманов — художник революции, а кто сказал, что революционер, когда берется

за кисть, должен превратиться в беспристрастные (или бесстрастные?) глаза и уши? Да и пусть укажут нам беспристрастного художника вообще? Может быть, таким мастером был Достоевский? Но кому же неизвестно, что страсть водила его кистью? Или это Лев Толстой, когда писал «Анну Каренину»? Но и Толстой не был беспристрастным воплотителем своих творческих видений. Слова о так называемом «беспристрастии», об объективизме художника — оказываются *словами* в буквальном смысле. Не обстоит ли дело как раз наоборот? Не отсутствует ли у большинства наших художников именно страсть, заставляющая одно ненавидеть, другое любить, одно отвергать, другое защищать всемерно. Художник, каким бы объективным он ни казался, никогда не видит мир таким, каков он есть, а всегда видит его «своими» глазами — в этом отличие воззрения художественного от научного, которое может вплотную подойти к объективному познанию и пониманию мира. Все дело в том, чтобы своеобразие художнического пристрастного зрения не искажало картины настолько, чтобы она теряла убедительность! Духовное зрение Фурманова — и это мы ставим ему в заслугу — было зрением большевика, партийца, революционера, и как можно требовать, чтоб это свое зрение он прикрыл стеклами так называемого художественного объективизма? О, я превосходно понимаю, что многим и многим из его критиков хотелось бы, чтобы эти особенности Фурманова, как художника, не были заметны, исчезли бы так, чтобы он нивелировался в общей массе «попутчиков», которые все — о-очень объективны! Но ведь это требование также далеко от объективности. Поэтому примиримся с тем, что Фурманов был художником

страстным и пристрастным, что он любил революцию и ненавидел ее врагов, что в произведениях своих этого не скрывал, и в «Чапаеве», и в «Мятеже» с первых же страниц видно, что автор — одна из сторон в картине, им изображаемой.

Ах, друзья мои, как было бы хорошо для нашей литературы, для нашего искусства — если бы у вас в жилах текла кровь погорячей, если бы у вас поменьше было беспристрастия, этой маски, за которой скрывается холодное или холодеющее сердце!

IV

Мы не хотим преувеличивать художественную законченность картин, созданных Фурмановым. Их эскизность сознавал он сам едва ли не более, чем его критики. Не случайно же перед смертью он занимался отделкой, шлифовкой своих вещей, переделывая целые главы, перестраивая фразы, изменяя конструкцию. Фурманов отделывал свои вещи потому, что, по его мнению, они не были отделаны художественно. Это были наброски, этюды, черновые полотна в ка- какой-то огромной картине, которую он — в этом мы ни на мгновение не сомневаемся — призван был написать, если бы смерть не остановила работу его мозга.

Возвратившись с фронта, он спешил оформить на бумаге теснившие сознание картины, размышления, наблюдения. Он не заботился об отделке, а хотел лишь освободиться от груза: оттого так стремительно, вслед за «Чапаевым», появился «Мятеж» — самое крупное из его произведений, посвященных гражданской войне. Но и в «Чапаеве», и в «Мятеже», в которых виден живописец, Фурманов не задавался целью дать законченные вещи. По этим могучим наброскам

можно судить, какого большого художника, еще не развернувшегося, лишь начинавшего овладевать мастерством, потеряла революция.

V

Упрекали еще Фурманова в том, что его произведения не соответствуют установившимся законченным и законным формам искусства. Повести ли писал он? Или рассказы? Романы? Но ни одним из этих обозначений нельзя определить его произведений. Повествование прерывается в них воспоминаниями, документами, приказами, заметками из записной книжки — полное нарушение канонизированных литературных форм!

Да, Фурманов нарушал формальные традиции. Но он и не называл свои произведения ни одним из установленных законных наименований. «Чапаева» определил он в предисловии как «очерк», а «Мятеж» не обозначил никак. И делал это Фурманов неспроста.

Я не могу утверждать, что он сознательно *ломал* старую форму повествования. Но что он *ломал* ее — в этом сомнений нет. Быть может, он делал это, повинуясь материалу, которым располагал. В результате — «Чапаев», как и «Мятеж», являются как бы предвестниками какой-то необычайной, еще не ставшей законной, но имеющей право на существование, новой формы повествования. Гражданская война, с ее неисчерпаемым многообразием событий, полная динамики, насыщенная действием масс и вместе деятельностью отдельных лиц, учреждений, организаций, связанная нитями революционной воли от московского Кремля до крайней периферии, — грандиозная картина эта не может вме-

ститься в традиционные формы литературы, и в произведениях Фурманова, торопливых, неотделанных, богатых сырым материалом, она вылезала, выпирала из этих форм; не справляясь с повествованием, но повинуясь внутренней целесообразности, Фурманов вводил в изложение документы, записную книжку, мемуары, дневники, приказы. Поскольку делалось это просто потому, что не находились классические формы для выражения материала — это было случайно. Не случайным было лишь то, что из нестройного, на первый взгляд, потока материала возникало представление о какой-то новой форме, столь же полихромной и полиморфной, как сама революция. Мне представляется, что то большое полотно, которое отразит нашу исключительную эпоху, в формальном смысле не будет походить на стройно организованные произведения классической литературы. Оно будет включать в себя не только широкой кистью схваченные картины массовых движений, не только изображения индивидуальных судеб, но и целиком выхваченные документы, и отрывки мемуаров, переписку отдельных лиц, и даже статистические таблицы. Многообразие материала продиктует потребность в многообразной форме. Это будет не роман и не повесть, и не рассказ, и не мемуары, и не историческое исследование с привлечением цифрового и иного материала. Но это будет некое художественное целое, которое органически вместит в себя и в некоем единстве объединит, организует все эти элементы.

Форма произведений Фурманова, который сам не нашел им определения, и была попыткой нащупать какой-то новый путь оформления материала, не вмещавшегося в традиционные рамки.

VI

Как художник, Фурманов лишь начинался. «Чапаев», который останется в истории нашей литературы, был лишь пробой пера. «Мятеж» — полотно с широким охватом — был лишь первоначальным вариантом картины. И когда пристрастные критики говорят о том, что в этих произведениях мало искусства, хочется сказать, что это *больше,* чем искусство, ибо это живые куски жизни, закрепленные в литературе, вырванные из потока прошлого. Но чтобы сделать это — разве не надо искусства?

В лице Фурманова ушел художник большого размаха и большого таланта. Эта потеря вдвойне печальна: она наносит удар литературе, потерявшей художника революции, и революции, потерявшей своего выразителя в литературе.

II. ЧЕЛОВЕК

(Из воспоминаний)

I

Это было в конце 1921 — или начале 1922 года — не могу вспомнить точно. В Высшем Военном Редакционном Совете я услышал, что нам дали нового работника. Фурманов — так назвали его.

Имя было знакомо: комиссар у Чапаева, какая-то крупная история в Семиречьи, поход Ковтюха.

Говорили про него хорошо. Боевой товарищ.

Несколько дней спустя мы встретились. Он появился както незаметно без шума, и фамилию свою, при знакомстве,

произносил тихо. Это был молодой, сухощавый человек, среднего роста, стройный, с красивым лицом. Лоб его был хорошо вылеплен, высок и крепок, каштановые, не длинные волосы, откинутые назад, подчеркивали белизну лба и темные брови, а легкий с желтизной румянец и энергичный рот говорили о здоровьи, бодрости и упорстве.

Сильное впечатление произвели на меня его глаза. Большие, они казались черными и широко открытыми. Фурманов как-то неподвижно вглядывался в человека. Его глаза не скользили, но останавливались подолгу. Он не смотрел — но всматривался, пронизывал, буравил спокойными зрачками. Казалось, что в темной глубине этих внимательных глаз горел невидный, но жаркий огонь.

Был Фурманов молчалив, с речами выступал редко и не очень любил многоглаголание. Не любил также жестикулировать. Всегда сдержанный, он представлялся скрытным, замкнутым, точно один-на-один с собой упорно обдумывал что-то, ни с кем не делясь своей внутренней работой. Улыбался он редко, а когда улыбался — белые, крепкие зубы блеском освещали лицо, оно делалось мальчишеским и задорным, и так странно обнаруживались ямочки на щеках у этого сурового и жестковатого на вид человека.

Он был всегда спокоен, и, встречаясь с ним нередко в заседаниях ячейки, иногда подолгу беседуя, я не замечал, чтобы он изменил самому себе, чтобы нервность, которая была в нем запрятана, показала себя, опрокинула бы его сдержанную силу. А сила, как свернутая пружина, чувствовалась в каждом его движении.

Фурманов не спешил говорить, как не спешил и работать. Он не торопился вообще объявлять свое мнение. Было видно: любил сначала хорошо подумать, а потом высказаться.

Здесь проявилась черта, едва ли не самая характерная в Фурманове: скромность. Был он по-хорошему мягок, ни-

кого не задирал, не толкал локтями близких, никому не наступал на мозоли, не лез на видное место — точно хотел отойти в сторонку от базара и суеты. Трудно было в этом человеке, казавшемся застенчивым, подозревать огромную внутреннюю работу. А ведь как раз в годы наших встреч Фурманов, по возвращении из Семиречья, оформлял свой боевой и житейский опыт. В это время был написан «Чапаев» и подготовлялся «Мятеж». Многие ли, даже из близких его знакомых, знали об этом упорном труде?

Однажды с смущенным видом (Фурманов не любил обращаться с просьбами) положил он мне на стол об'емистую рукопись. Это был «Чапаев». Фурманов не знал, как лучше поступить, чтобы издать книгу. Посылать ли в Госиздат? Но там ее могут «задвинуть» в редакционную корзину. Государственное Издательство и в те годы не отличалось деликатным обхождением с авторским трудом. — Или, быть может, издаст ее наше военное издательство? Послать в Истпарт? Его это тревожило — он не вошел еще в литературу как «свой» человек, не имел, так называемых, «связей», без которых, к сожалению, молодому писателю трудновато бывает пробиться «в люди». К тому же, мне это было ясно из бесед с Фурмановым — он и не представлял себе, какая сила была вложена в «Чапаева» и какой успех ожидает эту книгу. Или то была показная скромность? Не думаю. Он и в самом деле не предполагал, что вещь, им написанная, отличается какими-нибудь особыми достоинствами.

Напротив: его личная работа не казалась ему значительной настолько, чтобы беспокоить товарищей, восседающих на высоких госиздатовских вершинах, где творилась литературная погода, создавались и разрушались литературные репутации. *«Госиздат»!* — Это звучало тогда для Фурманова как Академия, как счастье, которого ему, грешному и скромному, не добиться.

Он, помнится, не совсем был даже уверен, удастся ли ему вообще скоро издать «Чапаева». И когда, через посредство Николая Леонидовича Мещерякова, с которым я познакомил Фурманова (Мещеряков, кажется, с письмом направил его в «Истпарт»), «Чапаев» увидел свет, Фурманов был первым, кого поразил успех его произведения. Он признавался мне, что несколько удивлен этим успехом, ибо не задавался целью создать такую крупную вещь, не думал, что она произведет большое впечатление. Просто в меру своего опыта и своих сил, которые считал не очень великими, пытался сжато и без претензий изложить чапаевскую эпопею. — «И вот, — с приятным недоумением разводил он руками, — такой успех!»

Фурманов свою удачу переживал крайне сдержанно. Ни горделивых мыслей, ни похвальбы, — вот-де мы утрем нос! мы пока-а-жем, как писать! — и т. д. — ничего подобного в нем не было. Успех его взволновал — но он не навязывался с хвалебными отзывами, хвастовства — даже такого безобидного и простительного — в нем не оказалось. Скажу больше: он не то что не поверил в успех, но боялся, как бы не оказались похвалы преувеличенными. Его беспокоило: сумеет ли он удержаться на высоте? Ведь удача — да еще литературная! — обязывает. Вот это чувство ответственности перед собой, перед литературой, вырастало в нем вместе с ростом его успехов. Он как бы не доверял своим силам — ибо превосходно понимал, как преходяща удача, если она случайна.

II

Есть мастера, которые быстро находят свой материал, тогда говорят: вот NN нашел свою линию. Существует зависимость между особенностями художнического зрения, свойствами творческой индивидуальности и материалом, который

подвергает художник обработке. Нередко писатель находит такой материал в начале своего пути: это и знаменует литературный успех. Возьмется он за материал ему несвойственный, чужой, — терпит неудачу.

Бывает наоборот. Долгие годы литературных исканий не дают художнику успеха — при несомненном таланте! Нужны какие-то внешние обстоятельства в биографии художника, изменение общественной среды, чтобы загорелся и заискрился талант, до того лишь вспыхивавший и погасавший.

К последнему типу писателей принадлежит Фурманов. Художника в нем разбудила пролетарская революция. Нужны были громы и грозы Октября, великолепный пафос гражданской войны, героические походы по Уралу, Кубани и Семиречью, давшие ряд редкостных впечатлений и наблюдений, чтобы анемичный беллетрист, каким был Фурманов до «Красного десанта» и «Чапаева», превратился в сурового и сосредоточенного бойца, задымленного порохом, под канонадой собирающего драгоценный материал для будущих картин, широких — как степные просторы, и суровых — как сама борьба.

Этот вот материал, от которого пахнет кровью и порохом, который жегся, как неостывшие угли — испепелил в Фурманове его первоначальную писательскую манеру: бледные красочки, кислосладкое интеллигентское сентиментальничанье.

Революция переродила его, закалила, омужествила. Он сделался настоящим писателем именно тогда, когда, казалось бы, распростился с писательством, если не навсегда, то надолго.

У него был большой личный опыт — Урал, Кубань, Семиречье; но он редко рассказывал об этом: писательское чутье мешало ему разглагольствовать о том, что постоянно томило его изнутри. Сосредоточенность и молчаливость были

именно признаками этой постоянной внутренней работы. Только теперь, много лет спустя после наших встреч, я постиг завидную способность его без остатка отдаваться одному творческому делу, одной мысли, единственной задаче.

С первой встречи Фурманов поразил меня нежеланием «выдвигать» свою персону на видное место. Он искал места поскромней, понезаметней. Меня это несколько удивило: что греха таить, редки такие товарищи в наши дни. А Фурманов как будто хотел забраться в уголок, где бы его не тревожили. Он выполнял обязанности секретаря журнала «Военная мысль и революция» и в «кабинете» его (в «кабинет», если память мне не изменяет, была превращена кухня — мы уплотняться начали ведь с 1921 года!) — крошечном и полутемном — было сосредоточенно тихо, суховато, деловито. Поглощенный творческим своим трудом, он не замечал ни плохих условий работы, ни шума, кипевшего вокруг — не заявлял претензий, не выставлял требований, которыми сопровождалось обычно появление каждого нового мало-мальски крупного работника. Он ограничивался минимумом удобств, самым необходимым, без чего немыслима была работа: остальное его волновало мало. Он уступал в мелочах — это значило: он не уступит там, где речь пойдет о значительном и крупном. Его работа в журнале была мало интересна — она не давала ему, разумеется, никакого удовлетворения. Но он отказывался от всяких иных работ, более интересных и сложных: берег, очевидно, силы для творчества, которому в тиши, в комнате с наглухо закрытыми дверьми, с занавешанными окнами всецело в то время отдавался.

Лишь позднее, после того, как «Чапаев» был опубликован, когда литературный успех был закреплен, а первые главы «Мятежа», вероятно, написаны, лишь после того Фурманов решил оторваться от старой военной при-

стани и отправиться в плаванье по литературному морю. Удалось ему это не без труда. Фурманов был военный работник. Высший Военный Редакционный Совет — одно из центральных управлений Реввоенсовета. Никаких миндальностей и сентиментов в военной работе не допускалось. Хороших работников было немало, — но они ценились все же — и «просто так» отпускать их на все четыре стороны не полагалось. А Фурманов был ценным. Поэтому его первые просьбы о разрешении уйти с военной работы, помнится, встретили отрицательное отношение не только с моей стороны, как тогдашнего председателя В.В.Р.С., которому лишиться Фурманова было неприятно, — но и со стороны Э. М. Склянского. Положения Склянского были ясны и точны: «Работник хороший, и Военведу нужен — не отпускать! Скрипит? Пусть поскрипит. Интересы революции и Красной армии выше личных интересов».

Интересы революции и Красной армии были близки и Фурманову, но его мотивировка была, тем не менее, правильной. Дело в том, что второстепенные функции, которые он выполнял, легко могли быть переданы другому. А в Фурманове (после «Чапаева» это сделалось ясным) оставалась неиспользованной большая литературная сила, которую Военвед в те годы и не мог использовать на все, как говорят, сто процентов. Об этом Фурманов сдержанно, с обычным спокойствием, внимательно выслушивая мои возражения, говорил мне, настойчиво опровергая мои доводы. Атаки свои он возобновлял несколько раз и однажды, смотря мне в глаза своим внимательным и упорным взглядом, заметил:

— Странно, все-таки, как вы, литератор, редактор большого журнала, который борется за советскую литературу, не хотите поступиться интересами издательского аппарата во имя интересов советской литературы. Или вы считаете, что я в самом деле не способен на настоящую творческую лите-

ратурную работу и больше пользы принесу революции, если буду корпеть в канцелярии?

Это был аргумент! Не скрою: он меня задел за живое. Пришлось сдаться. Склянского удалось уговорить — в таких случаях покойный Эфроим Маркович был покладистым. Дело ведь шло не о «личных» интересах Фурманова.

Фурманов был обрадован. Но и в радости оставался все тем же простым и спокойным — только руку пожал сильней, чем обычно. А рука у него была сухая, крепкая и горячая.

Стоит отметить: Фурманов очень хотел переменить работу. Литература влекла его к себе неудержимо. Но в этой борьбе за «литературу» он не прибег ни к чьему содействию. Он очень хорош был с М. В. Фрунзе: их связывала общая боевая работа. Фурманов мог обратиться хотя бы к его дружеской защите — он не сделал этого. Протекционизм лежал как-то вне характера Фурманова.

В Госиздате он оказался на своем месте. Н. Л. Мещеряков, тогдашний идеологический руководитель Гиза, не мог им нахвалиться: не кичившийся собою, исполнительный, добросовестный, — Фурманов скромненько сидел за своим столом, читал материал, редактировал — и все делал точно, без лишних слов — с той деловой военной выправкой, какую умным людям дает Красная армия.

Много раз в Госиздате — на лету, на бегу, впопыхах, — Мещеряков бросал мне по поводу Фурманова:

«Великолепный работник! Превосходный работник! Сущий клад!»

III

В деятельности Фурманова нельзя заметить никаких черт, которые говорили бы о его честолюбии, подчеркивали бы в нем желание выделить свою личность, протиснуться в первые ряды, оттеснить или затмить своего соседа!

В нем не было карьеризма. На лице его я не подмечал угодливой улыбки, застенчиво-почтительного смешка, когда с ним говорили товарищи очень большого полета. Он высоко ставил чувство собственного достоинства — пролазы и подхалимы вызывали в нем холодное и брезгливое отвращение. Он не ценил временной удачи, ибо знал цену аплодисментам легкомысленных аудиторий — и не искал их. Его увлекал успех серьезный и глубокий. Скрывая, он таил мечту оставить в литературе такой след, который нельзя было бы стереть сразу.

Он был мягким и вместе с тем жестким. Я не сомневаюсь, что под оболочкой сурового и дисциплинированного бойца в нем скрывалось нежное сердце, которое умело сочувствовать и способно было незримо для чужих глаз сочиться кровью. Но он лишен был сентиментальности — не любил говорить о чувствах, о настроениях, размазывать лирическую «кашу по чистому столу». Он держал себя в железных рукавицах воли, оттого-то казался таким упругим, стойким, негнувшимся. Отсюда и его прямота — честная прямота человека, который хочет знать правду и не станет искать утешения в «возвышенных обманах» мечты. Молчаливость его была не от недостатка мыслей. Словесная скупость Фурманова происходила все от той же волевой установки: что хочешь сказать — говори кратко, четко и ясно. И здесь давала себя знать военная выучка. Он больше слушал, чем говорил, а если начинал говорить, то обдумав, взвешивая каждое слово, отдавая его с осторожностью, точно прощупывая почву при каждом новом шаге. Оттого-то взгляд его был думающим. Упорная мысль постоянно изнутри освещала его темные глаза. И если он что додумывал до конца, и додуманное высказывал, было почти что бесполезно пытаться его переубедить. Он твердо стоял на своем, внимательно-колючим взглядом как бы пронизывал противника, волнения

своего не выдавал, слушал терпеливо, но выслушав — спокойно возвращался к своему обдуманному и решенному. Он не любил раз решенное — перерешать: то, что он решал, было крепко — всерьез и надолго. Оттого-то некоторые товарищи считали его догматиком. Это неверно. Но он был постоянен в оценках и не менял их в зависимости от обстоятельств, черта — без которой нет хорошего большевика. Когда позднее он сделался одним из руководителей ВАППА'а, работавшие с ним товарищи узнали, как жесток бывал Фурманов, какие беспощадные удары наносил он даже друзьям, даже близким людям, когда считал, что эти близкие люди совершают ошибки, с которыми он никак не мог согласиться.

Он был революционером. Это значит, что закон революции был для него — высший закон. Это значит, что он любил революцию. Но его тянуло к писательству — литература была его второй страстью. Как примирить эти две страсти? Для литературного попутчика — сначала литература, потом революция. Для писателя-большевика — сначала революция, потом литература. И если вообразить себе альтернативу: или революция, или литература — «попутчик» пожертвует интересами революции во имя литературы, писатель-большевик— интересами литературы во имя революции. Попутчик-литератор, даже если он революционер, служит прежде всего литературе, думает о литературе, живет литературой; большевик, даже если он писатель, служит прежде всего революции, думает о революции, живет революцией. Такие взаимоотношения дают иногда попутчику возможность выигрывать в своей писательской квалификации: но зато он теряет качество революционности. Литератор-большевик иногда теряет литературное качество, но зато выигрывает в революционной квалификации. Гармоническое сочетание этих взаимоотношений — предел, к которому стремятся писатели-попут-

чики и писатели-большевики. Этого предела еще не достиг ни один. Не достиг его и Фурманов, но писательский путь его лежал именно в эту сторону: гармонически сочетать литературу и революцию, превратить революцию в произведение искусства — такова ведь и была задача жизни, которую поставил себе Фурманов.

Фурманов превосходно понимал, что гражданская война, закончившаяся на фронтах, переносится в другие области жизни, принимает новые разнообразные формы. И если в 1918 и 1919 годах это была борьба с оружием в руках, позднее на хозяйственном фронте она превращалась в трудовые процессы, а в области литературной принимала формы творческого художественного производства. Потому-то, чувствуя в себе силы служить революции именно на литературном фронте, Фурманов отказался от всяких иных возможностей, от всякой славы, а возможности у него были незаурядные. Здесь же ждали его не только успехи, но неудачи, сомнения, разочарования. Литературный труд — опасный труд, неблагодарный труд. Шум лавров, улыбка славы — они ведь не только *заманчивы,* но и *обманчивы*. И сколько юношей и девушек, обольщенных этими влекущими зовами — теряли себя, не найдя того, к чему призывало их обманутое воображение.

Несмотря на похвалы, Фурманов неутомимо продолжал работать над своими, уже изданными и прогремевшими, вещами. Он не обольщался достоинствами своего стиля. Несколько раз в беседах со мной говорил о том, что в его языке нет достаточной экспрессивности, краткой и выразительной остроты, что в композиционном смысле надо еще много над вещами потрудиться. И действительно — последнее время своей жизни он тщательно занимался шлифовкой фразы, работая над словом, как материалом искусства.

Больше, чем критика, критиковал он свои произведе-

ния, — ибо обладал редким чувством самокритики. Оттого-то похвалы не опьяняли его. Оттого-то он не жаждал дружеских рецензий, не рассылал своих книжек друзьям и недругам — с разнузданно льстивыми надписями, не искал внимания персон влиятельных в литературе. Он не любил сладкоречивых людей только потому, что они сладкоречивы, его нельзя было купить комплиментами, дешевая цена их была ему известна. Но всегда с большим вниманием и с большой охотой прислушивался он к оценкам суровым и нелицеприятным. Было ясно, что именно из этих оценок Фурманов извлекал всю ту пользу, которую искал в критике. Он не принадлежал к той породе писателей, которые расценивают критиков своеобразно: если *хвалит — хорош, друг, умница;* если *бранит — плох, враг, бездарь.* А ведь большинство нашей писательской братии так именно к критике и относится, будто литература — залежалый товар, а критик — маклер, работающий на процентах.

Печальнее всего, конечно, то, что есть молодцы, берущие на себя роль критиков именно в последнем смысле.

IV

Фурманов был интеллигентом. Он не сразу пришел в большевистскую партию. Был у него период анархистский, максималистский. Но пролетарская революция переплавила в нем интеллигентское бунтарство, вышколила, вымуштровала его, превратила в хорошего большевика с крепкой духовной мускулатурой. Аналогичен был и его писательский путь — от бледных, интеллигентских рассказов добольшевистского периода — к «Чапаеву» и «Мятежу».

В таком пути русского радикального интеллигента нет ничего случайного: он вполне закономерен, и не один Фурманов сумел преодолеть в себе интеллигентский индивидуализм и

анархизм. Пролетарская революция — великий воспитатель. И если одна часть интеллигенции, крепко спаянная с буржуазией, не сумела порвать буржуазной пуповины — и очутилась по ту сторону баррикады, то ведь другая часть — революционная и меньшая — пошла вместе с пролетариатом, связав свою судьбу с его судьбой, и в пролетарских рядах в борьбе стала перековывать свое интеллигентское мировоззрение.

Фурманов — один из немногих, кому удалось это сделать с наибольшим успехом.

Смерть нежданно поставила точку на недописанной странице его жизни.

Но и то, что Фурмановым «написано», закрепляет за ним видное место в богатой галлерее выдающихся людей, выдвинутых великолепной нашей эпохой.

Среди фигур, которые останутся в истории, — далеко не последней будет автор «Чапаева» и «Мятежа» — большевик, писатель и просто замечательный человек.

Вяч. Полонский.

Март 1926 г.

В БОЯХ



НА ПОДСТУПАХ ОКТЯБРЯ

Мы хотим, чтобы Первое Мая было теплым, светло-солнечным днем. А сегодня так скверно: моросит изнурительный, бесконечный дождь; по выбоинам дорог хлюпает мутная вода; посерели и принахмурились дома, сараи, заборы; низко опустилось дымчатое, скучное небо.

Первое Мая должно быть совсем иным. И не только я — мы все ожидали его в лугах, в цветущей зелени, с голубым высоким небом!

Теперь, я думаю, всем тяжело и обидно, как мне; даже и не только обидно-тяжело, а опаска берет: ну, да как никто не придет, одни знаменосцы? Кому захочется в этакую гнусную слякоть истязать себя долгие часы? Не подумает ли каждый: «А пусть без меня... что я один... И не пойду — хватит народу... Дай-ка пережду окаянную хмару»...

Гвоздем торчала эта мысль. И беспокоила...

★

Я вхожу на широкий фабричный двор. Он напоминал мне распростертую засаленную рабочую блузу, когда от дождя по ней стекают масло, известка, нефть, прилипшие комья грязи... На пустынном дворе еще большая тоска, чем на безлюдных утренних улицах...

Комнатка у фабричного комитета небольшая — черная, прокуренная, полутемная.

Мы сегодня пришли сюда спозаранку: не дошили вчера атласные знамена, не достроили подмостки театра, а открыть его надо сегодня же, Первого Мая. Я не первый пришел: Катерина Лунева, Настя, сестра ее, Гаврилов, Никита Губан, старик Алексеич... вон их сколько, уж не ночевали ли тут?

— Здорово, товарищи!

— Здравствуй, Павел. На молоток, иди на сцену, тебя там ожидают на подмогу.

Я ухожу. Но прежде чем уйти, как всегда, смотрю на Катерину. У нее под опущенными ресницами не вижу глаз; губы сложены строго; низко опущен платок; она вся перегнулась, склонилась над работой.

Не стану мешать, не оторву, не скажу ей ни слова — лучше послушаю, полюбуюсь, как она станет говорить рабочим про Май. Так постановил фабричный комитет, чтобы Катерина сегодня говорила. Ее любят и уважают, такую рассудливую, умную и строгую.

Длинным-длинным коридором (такие только на фабриках) я пробираюсь к театру; мы его построили в пустующем сарае, когда-то забитом от низу до потолка хозяйскими товарами.

На минутку остановился я и слушаю: тихо. Где-то за стенами чуть гудят человеческие голоса, а оттуда, спереди, то молотком постучат, то проскрежещут ручником-пилою. В этом коридоре — я как в подземельи: сыро, темно, даже страшно немного... Как тяжело быть одному — и здесь и там вот на улице, под скучным, слепым дождем...

Я выхожу из коридора прямо в сарай и здесь работаю. Мне все скучно попрежнему, да вижу я, что и товарищам моим невесело. Стучим, строгаем, пилим, таскаем, режем,

вбиваем... Проходят часы. Как прежде, падает дождь — непрерывными, бессильными, мертвыми каплями.

★

Когда на две, на три секунды у нас случалась тишина — не стучали молотки, не визжали рубанки и пилы — через стены к нам стали доноситься какие-то звуки. И чем дальше, тем они становились явственней и громче. Гудит... Гудит... Гудит... Мы понимали, что это — гомон человеческой речи... «Значит, не все пропало, — подумал я. — Может быть, и праздник состоится по-настоящему»...

Вместе с говором и шумом, который все усиливался за стенами, ко мне в грудь проникало новое чувство, я замечал, что у меня хоть и медленно, а все-таки пропадает, рассеивается понемногу то гнетущее, мучительное состояние, в котором я шел сюда, которым полон был до этой минуты.

★

Кончена работа. Мы достроили, что хотели. Я бегу обратно длинным мрачным коридором, и он мне кажется уж совсем не таким отвратительным, как прежде. Лишь только поднялся по ступенькам — прямо к окну. А окно смотрит в фабричный двор. Двор переполнен рабочими.

«Так что ж это такое? — чуть не крикнул я. — Неужели правда? Значит, ни слякоть, ни дождь, ни хмурое небо — ничто нипочем?..»

Я почувствовал, как краска стыда залила мне лицо; как я сам себе вдруг показался и смешным, и маленьким, и жалким со своими куриными утренними сомненьями.

Взволнованный, спешу я в комитет, а туда не проберешься: все ходы-выходы заполнил народ. Толпа колыхнулась к выходу — это торопились открыть во дворе собрание, чтобы

итти на главную, на Советскую площадь, куда соберутся к условленному часу все фабрики. Поплыла толпа. С нею плыву и я.

Когда поровнялся с дверью, пахнуло все той же сыростью, что и утром, так же бесстрастно и печально падал дождь, так же угрюмо было свинцовое небо... А у меня дух захватывало от радости. Я торжествовал. Я был счастлив в те минуты. Я даже чувствовал себя так, как будто кого-то и в чем-то победил...

★

До сегодняшнего утра нам не казали новые атласные знамена. Вот они, у трибуны; я тороплюсь их смотреть.

Да здравствует советская власть!

Вся власть советам!

Долой десять министров-капиталистов!

Над производством — рабочий контроль!

Передадим землю крестьянам, фабрики и заводы — рабочим!

Да здравствует мир!

Долой проклятую бойню!

Да здравствует Интернационал!

Смерть капиталу, слава труду!

Ах, какие это сжигающие лозунги!

С каким захватом, с каким волненьем из уст в уста передают рабочие эти огненные слова.

Вот цели, к которым надо стремиться. Вот знамена, под которыми надо итти!

Скорее же, скорее на площадь, там будет нас еще больше, туда все фабрики принесут такие же атласные и шелковые знамена, где будут не вышиты — выжжены каленым железом такие же пламенные, зовущие слова!

★

Медленная, гордая, сильная — входит по ступенькам Катерина.

— Товарищи! Этот день — наш! Мы посылаем еще громче свой привет рабочим мира. Мы сегодня еще громче проклинаем бойню, устроенную капиталистами. Мы больше не хотим воевать! Не станем! Под этими знаменами, под этим лозунгами поклянемся во что бы то ни стало добиться победы рабочего класса!

Недолго говорила Катерина. И не надо было долго говорить: вдохновенные лица рабочих, решимостью сверкнувшие взоры, простые, словно литые слова, эти выкрики-клятвы, этот заключительный восторженный рев — все сказало о готовности бороться, о готовности страдать, о вере в победу

Мы пели «Интернационал». Что-то еще хотел сказать табельщик Каплушин, а ему крикнули из толпы:

— Сними с живота дареные хозяйские часы!

— Знаем мы тебя, подлыгалу...

— Ишь, какой выискался защитник рабочим!

— Беги лучше, пошепчись с хозяином!

Напрасно Каплушин махал жиденькими ручонками, напрасно брызгал слюною, торопясь что-то доказать и разъяснить, — из тысячи грудей неслось победное пенье... Мы тронулись на площадь...

★

Никому не было дела до хмурого неба, до расслабленного противного дождя, до сырости грязной дороги, истыканной лужами.

Взявшись за руки, рядами, колоннами — шли мы по широким улицам, и толпа все росла, облипала чужими, случайными, которые не могли устоять перед нашею силой, перед стройностью, перед новыми песнями!

Лейся вдаль, наш напев,
Мчись вперед.
Над миром знамя наше реет
И несет клич борьбы
Мести гром,
Семя грядущего сеет...
Оно горит и ярко рдеет.
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем!..

Вот она площадь! Гремят оркестры: сюда уже пришли и революционные полки. Знамена — знамена — знамена — кругом знамена: алые, багровые, рдяные, ярко-красные...

На площади пять трибун... И с каждой трибуны все одни слова:

— На борьбу! На борьбу, рабочие! Победа только впереди — это еще не победа!

— Мы готовы, — отвечали рабочие.

— Мы готовы, — отвечали полки.

Шелестели знамена, и казалось, будто они тоже говорят, соглашаются, одобряют... Так в Мае готовились мы к Октябрю.

Москва, 25/III 1922 г.

ПО КАМЕННОМУ ГРУНТУ

За перевалом, по берегу Черного моря идут красноармейцы. Их много, целые тысячи. А еще больше идет с ними разного присталого народу — иногородних станичников, женщин, стариков, ребятишек... Все это погрузилось на широкие телеги — сами беженцы, сундучки, узелки, мешочки; кое-где выглядывает поросенок, красноголовый петух, собачонка... Пыль, скрип, непрестанная брань, перекличка, лязг оружия, человеческий гомон. Позади, в станицах озверелые казаки истязают оставшихся — тех, что не успели бежать. Лазят теперь по оставленным хатам, роются, ищут, растаскивают чужое добро... А вот в Новороссийске, так недалеко, они уж наставили виселиц, и этот прискакавший товарищ рассказывает, как они подводят пленного к перекладинам, заставляют его надевать на шею веревку и вешаться самому... Бр-р-р... Не одного, не двух — сотнями ведут под перекладины этих несчастных невольных самоубийц. Офицеры крутят усы, хохочут. Изредка плюют в лицо проходящим пленникам — так, как бы невзначай, как бы не разбирая, камень тут или человек. Они уже устали издеваться, ухмыляются да изредка покрикивают: «Ладно!.. Так-то... сволочь!..». По городу рыщут «вольные» люди, им нет ни от кого запрету, — куда зайдут, что возьмут, с тем и останутся. Они могут и го-

лову снести безответно. Могут и дочурку девочку изуродовать хмельной компанией — это никого не тронет. Офицер посмеется над удалью лихого казака... Город утонул в пьяных парах, стонах, кровавом запахе... Носится черная смерть, грызет бесконечные жертвы...

За перевалом идут красноармейцы — разутые, раздетые, без штыков, без патронов. Им нечем отбиваться от своры палачей, горами и ущельями отходят они на юг, где можно добраться до своих. Голодно. Хлеба нет. Уже давно они едят только жолуди да кислицу... Лошадиные трупы усеяли путь, коням тоже нечем питаться, — бесплодны и холодны горные скалы. То здесь, то там остается телега — ее некому везти. И у каждой телеги драма. Ребятишкам не успеть за красноармейцами. Мать не уведет их, не унесет, она сама чуть стоит на ногах. Остаться нельзя — наскочат, изуродуют озверелые казаки... А вон, посмотрите. В телеге остались двое малюток — одному года четыре, другому два... Глазки вспухли, красные, полные слез... Армия идет, уходит и мать, а малютки остались... Протянули ручонки, кричат, еще не понимают того, что скоро умрут с голоду. Исступленная простоволосая мать, восковая, дрожащая, уходит за скалы — все дальше, все дальше. Отойдет, остановится, посмотрит на малюток, закроет руками лицо и дальше... А потом снова встанет и снова смотрит, а слезы капают на скалистый грунт... Так и ушла... Малютки остались под откосом с простертыми ручонками, с наплаканными глазами.

За перевалом идут красноармейцы. Те, которым дальше не под силу, больные и раненые, садятся отдохнуть и остаются, им уж никогда больше не догнать ушедших далеко вперед...

Лошадиные трупы, плачущие малютки, беспокойные куры, телеги с добром, больные красноармейцы — все остается

по пути, погибает медленной неизбежной смертью... Справа море, слева скалы, сзади свирепые казаки, а впереди — впереди не догнать ушедших товарищей.

За перевалом по каменному грунту уходят вдаль красноармейцы...

25/III 1921 г.

ЕПИФАН КОВТЮХ

В половине 1917 года с Кавказского фронта расходились по домам полки царской армии. Епифан Ковтюх, находившийся в это время в Эрзеруме, получил какую-то незначительную командировку, но вместо того, чтобы снова вернуться в далекую турецкую крепость, предпочел укатить на Кубань, где в это время уж грозно кипела революционная борьба. Приехал в Таманский отдел, в родную станицу Полтавскую, где жили родители старики.

Годы войны он провел на Турецком фронте, за боевые отличия с фронта уезжал в чине штабс-капитана...

Но офицерский чин не тронул, не изменил сырую и свежую натуру Ковтюха, не заразил его недугами гнилой офицерской среды; он ехал в станицу к привычной трудовой жизни — к хозяйству, к скотине, к земле... И начал бы снова пахать, если б волны гражданской борьбы не увлекли его с собою...

Первое время только присматривался и многого не понимал, не знал еще тогда, не видел, какой размах принимают события, что надо делать, куда итти... Трудовая, суровая жизнь, потом война, это бесконечное мотанье по фронту — не дали ему возможности столкнуться с книгами и людьми, которые разъяснили бы существо борьбы, историю этой борьбы, рассказали бы про большевиков, про дру-

гие партии... События нахлынули, как мутный поток, и в этом потоке он сразу не мог ничего рассмотреть, отличить, понять, разобраться по-настоящему... Но трудовое чутье подсказало верную дорогу... Станица Полтавская была одна из гнуснейших станиц, здесь кулацкое казачество было спаяно особенно крепко, немало бед натворило оно за время гражданской войны на Кубани. Зато и неказачье, так называемое «иногороднее» трудовое население станицы объединилось уже с самых первых дней...

Надо помнить, что Кубань все время как бы распадалась на две половинки. Казаки, коренное население, считали себя господами положения, владели большими участками земли, жили наемной батрацкой силой. А наезжие — иногородние — шли на заводы, в мастерские, внаймы к богатому казаку или крепко маялись на жалких осколках земли... И глубокая вражда, взаимная ненависть кипели, не стихая, по городам, по станицам Кубани... Грянул гром революции, и казакам он был сигналом борьбы за «свободную Кубань», борьбы за то, чтобы на Кубани остались одни казаки.

Гром революции пробудил с новой силой у не-казачьей трудовой Кубани страстную охоту сбросить ярмо, освободиться от гнета, зависимости, горькой нужды...

И началась борьба...

Тесно льнули к иногородним трудовые казаки, особенно те, что приходили с фронта, но тем ожесточеннее и злее рычала в негодовании упитанно-сытая полудикая кулацкая Кубань... По станицам — где совет, где, по-старому, казачий атаман. Атаман правит и станицей Полтавской... Перепутались власти на Кубани, и уж чувствуют все грознее дыхание решительной битвы, знают, что двум властям не бывать, что только мечом одна другую положит на месте...

Идут недели и месяцы... За Октябрьскими днями и Кубань поняла, что подступают последние моменты, близится удар...

С Дона приехал Покровский, жестокий трусливый генерал; создается добровольческая армия. Кубанская рада — дитё тупых богатых казаков — мало-по-малу теряет остатки власти, и офицерский произвол добрармии захлестывает Кубань...

Горячо работают большевики... Создается Областной совет народных депутатов — его на съезде своем выбирает иногородняя трудовая масса Кубани... Потом — Военно-революционный комитет... Красные отряды... Первые открытые схватки... Это заполыхали кровавые языки ожесточенной гражданской войны. Загорелась Кубань... Все быстрей, все неожиданней мчатся события. Железным шагом идет к победе трудовая масса...

★

Ковтюх живет в Полтавской. То и дело собираются у него станичники соседи, приезжают ребята фронтовики из других станиц, держат совет, как бороться против кулацкого нажима, против разнузданной офицерской вольницы... Готовятся и другие станицы, готовится вся Кубань, но в Полтавскую долетают об этом лишь глухие короткие слухи...

Откуда-то сдалека прорвался в Таманский отдел красный партизанский отряд... В нем все больше солдаты-фронтовики, на-смерть порешившие бороться с белым офицерством... Пришли в Полтавскую. Узнали, что Епифан Ковтюх — из офицеров царской армии. Не разобрали, не узнали — порешили расстрелять...

— Я же свой, товарищи.

— Какой ты свой, офицерская морда!.. Выходи!..

Под окнами ватага позванивает грозно штыками. В хате вопят благим матом очумевшие от ужаса старики, голосит и плачет и молит о пощаде молодая жена Ковтюха.

— Выходи, а то на месте!..

Захолонуло сердце.

— Значит, пришел конец, — решил Епифан, а тем временем мальчишку садами послал бежать к станичникам, торопить на помощь.

Прибежали братья, набежало народу кругом, сгрудились, прижали отрядников.

— Ах, вы, подлецы? Это своего-то брата солдата!.. Да какой он офицер? Марш... марш... не то всех на месте!

А сами прут-напирают — кто с винтовкой, кто с револьвером, у кого шашка блестит, готовая в дело.

Отхлынули отрядники — задом-задом, вон из станицы, так и пропали...

— Ну, ребята, спасибо за помощь, — обратился Ковтюх к товарищам. — Только после этого разу полно думку думать, куда итти да што нам делать. Дело совсем теперь яснее... надо в отряд. Я предлагаю создать Полтавскую Красную роту.

Дружно, согласно гуторили. Кто и поспорил, кто и не хотел, — «каждый, мол, сам по себе сумеет», — а подконец согласились на роте. И с тех пор командир Таманской красной роты, Епифан Ковтюх, пошел на открытую борьбу, все годы гражданской войны метался по фронтам, вынес крестную муку и до наших дней остался в Красной армии...

Полтавская рота скоро влилась в большой отряд Рогачева. Этот отряд объединял собою несколько мелких отрядов, бойцы которых все время жили по станицам и только на клич — собирались, шли воевать... Командир всех отрядов, широкогрудый матрос Рогачев, в штабе своем, ста-

нице Старовеличковской, зорко смотрел, откуда идет опасность. И лишь только подымалось восстание, он гнал гонцов во все концы, и по железной дороге, в повозках, пешком и верхом стекались отовсюду красные бойцы — часто с ребятами, с женами, со всем семейством, с домашним скарбом. Получали задачи — и шли выполнять...

Так, под командой Рогачева, не раз ходил в дело со своею Полтавской ротой и Епифан Ковтюх.

Натиском красных войск скоро был выбит с Кубани генерал Покровский, войска его при отступлении наткнулись на таманские отряды и вослед не раз были биты жестоко.

Кубань под советским стягом. Но неспокойны казаки. То здесь, то там подымаются они, убегают в плавни, кроются в камышах, налетают на мирные советские станицы, громят учрежденья, расстреливают, вешают коммунистов. На усмиренье снова и снова посылается рогачевский отряд. С ним об-руку первым помощником всюду идет Ковтюх...

Мчатся дни, недели, месяцы... По осени белые войска заливают снова кубанские равнины и оттесняют Красную армию. Она не в силах сдержать решительный натиск врага — с боями отступает, уходит на восток, на Белореченскую. Это уходят главные силы. Ими командует, печальной памяти, талантливый партизан Сорокин...

Таманцы отрезаны у себя на полуострове — выхода нет, кругом неприятель, выход только в море... И решились. Через клокочущее море восставших казачьих гнезд пробивают они себе дорогу на Новороссийск. Начинается знаменитый поход Таманской армии... Отступают не только бойцы — с ними уходят и семьи, тянутся бесконечные обозы. Не хотят старики, ребята и женщины-мученицы оставаться на казацкий произвол.

Подходят красные отряды под самый Новороссийск, но здесь и турки и немцы — дорога закрыта. Навалились

грудью, сбили с толку врага своим неожиданным натиском, прорвались за город, на широкое шоссе, что идет по морскому побережью. Отступали, а по пути, вдогонку, неприятель прощается стальными гостинцами... И горами, ущельями, узкими тропками, и холодными росными ночами и в солнечный кавказский жар, босые, голодные, измученные, без снарядов и патронов — шли они по Черноморскому побережью долгие недели, пока не выбились снова из Туапсе на кубанскую равнину...

С гор то и дело наскакивает неприятель, с моря бьют броненосцы, в пути на горных перевалах боем встречает Грузинская дивизия, но все преодолели герои-таманцы, грозными ударами, нечеловеческим терпением и выносливостью, пламенным героизмом проложили они себе дорогу через горные хребты Кавказа... Войска разбились на три колонны, и с первой колонной, во главе отступавших, идет первым командиром — Епифан Ковтюх... Вот она и Белореченская. Уж слышно, что совсем недалеко со своею силой Сорокин, но у Белореченской вражьи войска встречают крепким ударом... И этот удар превозмогли таманцы, пробились, соединились с главными красными силами... Но некогда было радоваться встрече, некогда отдыхать, — таманцам дана задача брать Армавир. За Армавиром летит и Ставрополь... Удерживать нет сил — красные войска отступают в астраханские пески...

Это был мучительный, долгий путь. Тиф без жалости выкосил ряды бойцов, и по пути отступления одна за другой все росли и росли курганами широкие братские могилы...

Отступал и Ковтюх со своими таманцами. И сам заболел тифом — больной поехал в Москву. Здесь он не дает покою Реввоенсовету. Говорил, убеждал, что надо создать особую Таманскую армию... Ему дают это право. Едет Ковтюх в Саратовскую губернию и в городе Вольске осно-

вывает штаб. Сюда со всех сторон скоро начали стекаться таманцы. Набралось четыре тысячи. А полки таманские, разбросанные по другим дивизиям, командиры не отпускают, и никакие хлопоты, никакая настойчивость не могли здесь помочь Ковтюху... Он скоро получает задачу итти на Царицын, там вливает свои части в 50-ю дивизию и становится во главе этой дивизии. Там, под Царицыном, были жаркие дни, но победа осталась за красными полками... Через Царицын дальше — на Тихорецкую, снова на родную Кубань, и бьются таманцы до тех пор, пока не освобожден Краснодар, пока не сдаются в Туапсе последние шестьдесят тысяч белой армии генерала Морозова... Кубань свободна. На Кубани советская власть...

Не поладил Ковтюх с командованием — уехал в Москву, а Москва пустила на отдых. Отдыхать — на Кубань, да не тут-то было. Врангель высадил на Азовском побережьи десант, и быстро пошли белые войска по взбудораженным станицам, подошли на сорок верст к Краснодару.

В это время во главе IX Кубанской армии стоит славный, широко известный командир, тов. Левандовский. Он встретил сердечно Ковтюха, назначил его комендантом Краснодарского укрепленного района. Какой тут отдых, такие ли дни!

На Кубань приехал Троцкий. Он вместе с Розенгольцем и Левандовским решил послать в глубокий неприятельский тыл, на судах, наш красный десант. Командиром десанта назначили Ковтюха, меня — комиссаром. И ночью поплыли снаряженные суда в туманную даль, на рискованное дело. Никто не знал — куда, зачем мы едем. Только знали мы вдвоем с Ковтюхом. Надо было сохранить глубокую тайну, иначе предупрежденный враг уложит нас огнем из прибрежных камышей. Плыли до Славянской. Здесь при-

бавили бойцов — всего набралось теперь тысячи полторы. До Славянской шестьдесят верст, а там, до Гривенской, где вражий стан, примерно столько же. Поздним вечером тронули из Славянской. Берегами шли наши конные разъезды, — их разослал предусмотрительный Ковтюх. И недаром. За ночь сняли они не один неприятельский дозор. В предрассветном густом тумане подплыли суда к берегам, отряд выскочил живо на широкую поляну, согнали коней, сволокли орудия. Отсюда до Гривенской всего две версты, но спит мертвым сном неприятельский штаб, никак он не ждет, не думает, что вырастет вот перед ним грозная неожиданная опасность...

Пошли цепями. Ударили орудия, сорвалась кавалерия, ура-ура!» загремели цепи... Неприятель в панике, ему не сдержать нашего крепкого удара. В налете с кавалерией участвует и сам Ковтюх. Он и здесь и там — он на коне мелькает из одного конца в другой... Повели к пароходам пленных... Расстреливали за околицей офицеров, — кому их тут хранить, когда через минуту, быть может, сами будем сбиты. В деле все — до последнего бойца. С площади поднялся неприятельский аэроплан, полетел к своим на позицию — предупредить скорей, что с тылу, бог весть откуда, появились красные отряды, что надо скорей отступать... И белые отступали, а за ними гнались, били вдогонку главные силы Красной Кубанской армии, снявшиеся с места. Отступая, офицеры и курсанты ударили на красный десант и чуть не согнали к берегу, не утопили в реке. Но молодцы пулеметчики и огонь артиллерии взяли свое: они белые цепи громили и косили под самыми камышевыми зарослями. И наложили рядами офицерские тела — в смешных побрякушках, в блестках, в многоцветных погонах, в лакированных светлых сапожках, изящных френчах, оттопыренных франтовских галифе...

Натиск был сбит. Над станицей рвалась шрапнель, которую посылали батареи наших главных подошедших сил. Ночью, в зареве пожара, под вой канонады — последняя атака — и белые опрометью мчатся к берегам Азовского моря... Рано поутру погрузили отбитые броневики, пулеметы, снаряды — все, что досталось от бежавшего врага, поплыли обратно в Краснодар. Свое дело сделали. Удар нанесен был в самое сердце.

Троцкий прислал приказом благодарность геройскому десанту. Ковтюх ухмыляется, радостный, шевелит широкими рыжими усами...



Кончилась боевая страда. Притихли бури гражданской войны. Обуяла Ковтюха нестерпимая охота ученья. Отпустили в Военную академию — и три года грызет он жадно гранит военной науки. И здесь — как там, в бою — мучительно, трудно пробивает путь, настойчиво рвется вперед, выходит твердой поступью на светлую широкую дорогу.

5/VI 1923 г.

НА ЧЕРНОМ ЕРЕКЕ

Из штаба армии пришел приказ о том, чтобы наш отряд взял во что бы то ни стало поселок Черноерковский и в дальнейшем способствовал 26-й бригаде, идущей справа от него, во взятии Ачуева, куда неприятель стягивает остатки расколоченного своего десанта, срочно погружая их на суда и переправляя в Крым. Десант Врангеля, действительно, можно считать разбитым. После нашего удара по тылу в станице Новонижестиблеевской он, теснимый нашими лобовыми частями со стороны Новониколаевки, увел оттуда свои главные силы и, проходя через Стиблиевку (она же Гривенная), дал нам последний бой. Мы покачнулись, но удержались — Гривенная осталась за нами. 29-го мы со своим экспедиционным десантом возвратились в станицу Славянскую и там уже получили предписание влиться во 2-й Таманский полк 2-й отдельной бригады при штарме IX и, образовав таким образом отряд тысячи в полторы стрелков и кавалерии, взяли направление на Черноерковскую станицу. 3-го к вечеру мы с товарищем Ковтюхом на машине отправились в Черноерковский. Здесь только, в поселке Черноерковском (стоящем в пятнадцати верстах от станицы Черноерковской) наладили мост и перетащили орудия. Части готовились к бою. Неприятель все время отступал под нашим натиском, но отступал организованно,

давая и принимая бои, направляя передом к морю свои обозы и тыловые организации и оставляя для отражения наших войск довольно сильные арьергардные части.

Уже после боя в Гривенной нам стало известно, что неприятель смазывает пятки, удирая к морю и готовясь к погрузке. Пленные, перебежчики и подводчики сообщали, что у моря непрерывно курсируют пароходы и что на этих пароходах многое уже переправлено в Крым.

Местность здесь удивительно сложная, и открытых операций вести почти невозможно. Огромная территория, прилегающая к Азовскому морю, занята лиманами, болотами, плавнями и камышами. Лиманами здесь называют небольшие водные вместилища наподобие наших крупных прудов и мелких озер, а плавнями называют болотистые места, покрытые камышом, где почти совершенно нет прохода. Сообщение в этом краю идет по грядам, а грядами называют более или менее широкие полосы твердого грунта, по которому возможно движение, как по дороге. Здесь страшно много дичи — гусей, уток, бекасов и пр., и все это не перепугано, близко, почти вплотную подпускает человека. Население занимается по преимуществу рыболовством — частью по своим рекам и лиманам, частью в Азовском море.

Хлеб здесь привозной — этим и объясняется то обстоятельство, что у неприятеля за последнее время наблюдалась сильная голодуха, а на этой почве развивался и ропот. Население смешанное — казаки, иногородние. На Кавказе вообще и здесь в частности между иногородними и казаками наблюдается глухая рознь, которая в 1918 году вылилась в форму открытой и кровавой схватки. Казаки все еще живут своими сословными традициями и чуют беду от социальной революции, а иногороднее население, из которого состоит почти исключительно и рабочее население Кавказа, оно близко к нашему коммунистическому движе-

нию, хотя и имеет некоторые черты избалованности, свойственные воспитанию в богатом, просторном, сытом крае.

Отношение казачества к десанту Врангеля было все-таки не таким, какого ожидал сам Врангель. Он полагал, что все казачество Кубани подымется разом и поможет ему сокрушить большевиков. В надежде на это он с десантом Улагая выслал сюда совершенно готовые штабы полков, бригад и дивизий, выслал обмундирование, военное снаряжение, вооружение и огнеприпасы. Он усиленно раздувал сведения о том, что его части уже подошли к самому Екатеринодару и оцепили всю область. Но казачество держалось пассивно и выжидательно, к Врангелю бежали и присоединялись по станицам только отдельные лица или небольшие группы. Пассивность казачества, разумеется, никоим образом нельзя объяснить сочувствием Советской власти — нет: казаки потому выжидали, что еще не были уверены в успехе Врангеля, а на «ура» итти им не улыбалось. Если же Врангель действительно смял бы здесь советские войска, казаки были бы активно на его стороне. Убежавшие к Врангелю казаки и составляли те арьергардные части, которые, отступая, все время сражались с нами. Регулярные части, прибывшие из Крыма, погрузились первыми и уехали обратно в Крым, а здесь за последнее время все больше действовали белые партизаны окрестных станиц, прекрасно знающие местность и, надо сознаться, дравшиеся великолепно, — были налицо удивительная стойкость, спокойствие и мужество.

В ночь с 4-го на 5-е была наша первая ночная атака. Под прикрытием орудийного огня спешенный кавалерийский эскадрон кочубеевцев должен был переправиться через реку и выбить неприятеля из окопов. А засел неприятель крепко, и позиция им была выбрана отличнейшая.

За поселком Черноерковским Черный Ерек изгибается вправо, а слева в него втекает какая-то другая речка, так что получается нечто в роде якоря, и в выбоину этого якоря неприятель положил своих стрелков, в центре и по краям наставил пулеметов. Река глубокая, мостов нет, перебраться невозможно. Кругом плавни, лиманы, густые заросли камыша.

Мы подали к берегу байды, — байдами здесь называют выдолбленные из одного ствола лодки, — и на этих байдах за ночь решили перебросить кочубеевцев. Эскадрон этот является у нас самой надежной и смелой частью, потому его и выбрали на такое отважное дело. Когда спустилась ночь, мы открыли орудийный огонь, и кочубеевцы пустились по реке. Но в то же мгновение был открыт с другого берега такой орудийный огонь, что пришлось вернуть эскадрон, чтобы не потерять его весь и понапрасну. Первая атака не удалась. Это нас не остановило, и на следующую ночь мы решили повторить атаку, за день подготовив почву и выяснив еще точнее как расположение, так и силы неприятеля. С раннего утра 5-го числа завязался бой. Мы с товарищем Ковтюхом пробрались на крышу избушки, стоящей на берегу, и до ночи целый день руководили боем. Наши цепи были раскинуты поблизости, но необходимо было их к вечеру уже продвинуть возможно дальше. Рота стояла в резерве возле избушки, ее мы посылали в подкрепленье лежавшим в окопах. Красноармейцы страшно устали, несколько ночей они провели без сна, и потому теперь наблюдалась некоторая вялость при исполнении приказов. Но внушительность и апломб, с которыми отдавал свои приказы товарищ Ковтюх, творили чудеса: часть оживлялась, вскакивала словно встрепанная и летела по назначению. Вот уже нам с крыши видны перебежки, вот уж цепи подвигаются к самой извилине реки.

И вдруг оглушительные залпы и пулеметный стрекот остановили наши цепи. Стрелки залегли. Скоро стали прибывать раненые, их наспех перевязывали и отправляли дальше, в тыл. Мы продолжали лежать на крыше, пригнувшись за трубу. Пули визжали, стонали, звенели. Целые рои этих певучих убийц проносились стремительно над нашими головами. Но нас не касались.

Меня еще накануне, когда я лежал на стогу сена, изображавшем наблюдательный пункт, слегка контузило пулей. Я полулежал, положив левую ногу на правую. Пуля скользнула по голенищу сапога, прорвала его и, не задев ни тела, ни кости, промчалась мимо. Остался только густой синяк, вдавило мясо да ломило кость пониже чашечки. Миновало благополучно. И теперь вот, лежа на крыше, они меня не достают.

В окопы то и дело подносили патроны. Ящики разбивали здесь же, у избушки, и там моментально все расходилось по стрелкам. Пальба шла отчаянная; стихла она только в темные сумерки, когда ничего уже нельзя было видеть. Перед сумерками мы подали было свои байды к извилине реки, но ураганный огонь неприятеля заставил на время отложить и эту задачу. Спустилась ночь. Мы наскоро закусили в станице и снова явились к реке. Готовилась ночная атака. На этот раз мы спѐшили два эскадрона и снова решили пустить их через реку. Байды тихо проплыли во тьме. Они пробирались так осторожно, что нельзя было слышать даже удара весел по воде. Крадучись вдоль берега, они тихо подходили к назначенному месту и готовились к приему храбрецов. В это время оба эскадрона подошли к избушке. Шопотом отданы были необходимые распоряжения, и красноармейцы рядами исчезали во мгле ночи. Когда я смотрел на них, и гордость и жалость овладевали всем моим существом. В темную ночь на байдах перебираться через реку, а пере-

бравшись, ждать ежесекундно, что вот-вот пулеметы уложат их на месте, — это страшно. И все-таки они шли — молча, тихо, как будто даже спокойно. Орудия притащили на себе почти на самый берег, к изгибу, чтобы ударить картечью по неприятельским окопам.

Скоро взойдет луна, надо торопиться, чтобы враг не заметил нашей подготовки. В это время прискакали два гонца и сообщили, что на Кучугурской гряде наши части отступили и бегут все дальше. Явилась опасность, что нас обойдут с тыла, отрежут, и таким образом вся ночная операция сведется к нулю — больше того: мы этим лишь осложним свое положение. Но, взвесив все, учтя общее отступление неприятеля, мы согласились, что он дальше не способен ни на что, кроме обороны. Отрядили дюжину кочубеевцев и во главе с командиром полка товарищем Пимоненко послали их на Кучугурскую гряду остановить бегущих во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед расстрелом.

Пимоненко уехал, а мы стали готовиться к бою. Луна уже поднялась, мы дали ей спрятаться за тучу, и был отдан приказ открывать стрельбу.

Прошло мучительных пять минут... Я ждал каждую минуту первого орудийного выстрела, вперив свой взгляд во тьму ночи по направлению к неприятельским окопам, но выстрела все не было. Да скорее же, скорей!.. Хоть бы уж чем-нибудь кончалось, а то целые дни все пальба и пальба, а в Ачуеве, всего ведь за двенадцать верст от нас, идет срочнейшая погрузка. Если медлить еще — ничего не отхватишь, все уедет в Крым. Скорее же, скорей!.. Грянул выстрел, за ним другой, третий. Заторопились, загоготали пулеметы, где-то далеко-далеко, словно из-под земли, неслось «ура», камыши пожирали все звуки. Это наши орлы кинулись через реку. Уже больше не строчили пулеметы, уже по глубокому тылу били наши орудия. Неприятель оторо-

пел от ужаса и кинулся бежать, оставляя в окопах убитых, винтовки, патроны...

Мы заняли берег. Скоро подтянули туда пехоту, а эскадроны отвели обратно в станицу. Жителям приказано было за ночь построить мост на баркасах и байдах. Закипела работа. Стрелки переправились через реку. В это время черные тучи разразились проливным дождем. Усталые, измученные красноармейцы должны были оставаться в окопах под открытым небом, под ужасным дождем. Мы ушли в халупу, измокнув до последней нитки. Теперь сказываются плоды: Ковтюх уже слег, распух, температура 39°, а у меня страшно ломит все тело — скоро слягу, вероятно, и я. Долго буду я помнить эту ужасную ночную атаку: такого ужаса, такого страшного эффекта я не видал никогда.

Станица Славянская,
7/IX 1920 г.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ

Разбитый в целом ряде боев, десант Врангеля пятился задом к Азовскому морю. Наш отряд гнал те его части, которые отступали на Ачуев, спешно грузились там на суда и переправлялись в Крым.

За поселком Черноерковским, отстоящим от моря всего верст на двенадцать, наши части вынуждены были временно остановиться, так как здесь позиция у неприятеля была почти неприступной. Река Черный Ерек делает в этом месте извив и расходится в стороны, образуя таким образом фигуру в виде якоря. Тут же скрещивается другая речонка, не широкая, но страшно глубокая и вся затянутая осокой и камышами. Берега в густых камышах, подходу с флангов совершенно нет, а в лоб итти невозможно. По берегу забегали наши стрелки, а на противоположном берегу были расставлены неприятельские пулеметы, из которых начинали строчить при нашем малейшем движении. Наш наблюдательный пункт находился шагах в 450 от берега, — обыкновенный и высоченный стог сена, у которого в вершине торчали шесты. Мы забрались туда и в течение целого часа наблюдали шевеление и передвижение у неприятеля, видимое совершенно невооруженным глазом. Пули звенели над головами, проносились где-то по бокам, тыкались в сено, но нас пока не задевали. Потом я вдруг почувствовал, как что-

то быстро-быстро шмыгнуло по левой ноге, под самой чашечкой. Посмотрел — крови не видно. Я спустился вниз и стал снимать сапог; оказалось, что пуля пробила голенище и слегка ударила по кости, оставив здоровеннейший синяк. Только теперь я почувствовал, как ныла и крутила нога, а там, на стогу — там совершенно ничего не чувствовал. Затем взобрался снова кверху, и, высмотрев окончательно местность, вместе с командиром мы решили устроить ночную атаку, перебравшись в темноте незаметно в лодках и барказах. Днем, в открытую тут было совершенно невозможно что-либо сделать. Атака не удалась, но мы повторили ее на следующую ночь и выбили неприятеля из неприступного естественного укрепления. Дальше задержек не было до самого моря. Неприятель был сбит окончательно, погрузил срочно свое достояние и бросился наутек. Многое было отбито нашими частями, многое неприятель бросил и сам, не успев погрузить, теснимый нашими наступающими частями. Врангелевского десанта больше нет, его уцелевшие остатки спешно убрались обратно в Крым.

10/VIII 1920 г.

ЛБИЩЕНСКАЯ ДРАМА

В открытой степи, на берегу стремительного мутного Урала раскинулась казацкая станица Лбищенск, ныне переименованная в город.

Как все станицы уральских казаков, она разбросалась на огромном пространстве, протянулась длинными широкими улицами, обвилась густыми садами, ушла в поля бесконечными огородами. Урал здесь круто изгибается в дугу, и местами песчаный, местами скалистый берег далеко вклинивается в грязные волны реки, падая отвесными срывами. Кой-где кусты, перелесочки, а кругом, куда ни глянь, бесконечная степь, темно-зеленые и сизые дали, где опускается и пропадает горизонт. На север, до города Уральска считают полторы-две сотни верст, а ниже, на юг — через Горячинский, Мергеневский, Каршинский и Сахарную — дорога идет на Гурьев, до самого Каспийского моря. Зауральские степи, где кочуют киргизы, называются Бухарской стороной; они уходят на восток. А на западе — Кушумская долина, Чижинские болота, и через станицу Сломихинскую — Александров-Гай.

Может быть, нигде не была более ожесточенной гражданская война, чем здесь, в уральских степях. По страдному пути от Уральска до Каспия не один раз наступали и отступали наши красные полки. Уральское казачество билось

отчаянно за мнимую свободу, оно с величайшей жестокостью душило протесты трудовой массы, с неукротимой ненавистью встречало красных пришельцев. Сожженные станицы, разоренные хутора, высокие курганы над братскими могилами, сиротливые надгробные кресты — вот чем в наши дни разукрашены просторные уральские степи. Не одна тысяча красных воинов покоится здесь на пшеничных и кукурузных полях, не одна тысяча уральских казаков на веки вечные оставила станицы.



Одною из последних и наиболее драматических страниц в истории борьбы по уральским степям, несомненно, останется лбищенская драма, совершившаяся в ночь с 4 на 5 сентября 1919 года.

Гроза уральских казаков — красная Чапаевская дивизия шла вперед. Август был месяцем отчаянных боев, когда мы шаг за шагом, часто без снарядов, без хлеба, с разбитым обозом двигались на юг, отбивая станицу за станицей, пока не заняли важнейшего центра — Лбищенска. Здесь остановились штаб дивизии, политический отдел, все дивизионные учреждения, школа курсантов, некоторые бригадные штабы, авиационный парк, обозы. Части ушли вперед, и 74-я бригада уже занимала Сахарную, верстах в семидесяти ниже Лбищенска. Казаки отступали на юг. Нашей задачей было — дойти до Гурьева, прижать их к Каспийскому морю, лишить опоры, принудить к сдаче.



Поздно вечером 3 сентября из степи прискакали фуражиры и сообщили штабу дивизии, что на них наскочил казачий разъезд и в завязавшейся схватке перерубил часть обозников. Ну что ж, казаки рыщут по всей степи, и нет ничего

удивительного, что шальной разъезд подобрался к самому Лбищенску. На эту схватку посмотрели, как на случайный эпизод, однако ж во все стороны разослали конные разъезды, а наутро снарядили аэропланы и поручили им осмотреть окружную степь — нет ли где опасности, не движутся ли казаки. Воротились кавалеристы, прилетели аэропланы: тихо в степи, опасности нет ниоткуда. Весь день 4-го прошел в обыденной работе, штаб готовился двинуться дальше. Чапаев — начальник дивизии — и Батурин — военный комиссар — выезжали к частям и снова вернулись в Лбищенск.

Вечером на охрану западной окраины станицы направили школу курсантов, выставили всюду ночные дозоры.

В это время стоявшие под Сахарной казаки надумали осуществить свой дьявольский план. Они видели, что дальше к Каспию открываются голые степи, что удерживаться будет чем дальше, тем трудней — там мало хлеба, мало лугов, трудно добыть питьевую воду. Уж если действовать, так действовать только теперь. И они решились. Отобрали тысячи полторы смельчаков и с легкими орудиями и пулеметами, во главе с генералом Сладковым и полковником Бородиным, поручили им ударить в наш тыл — незаметно пробраться мимо Чижинских болот, по Кушумской долине и внезапным налетом ворваться в Лбищенск. Этот рискованный маневр был рассчитан совершенно правильно в том смысле, что он в случае удачи разбивал наш тыловой дивизионный центр и оставлял безо всякого руководства бригады, ушедшие под Сахарную и на Бухарскую сторону. Решение было принято. Казацкий отряд выступил в поход. Двигались только ночью; днем отдыхали и прятались по оврагам. На Лбищенск шла черная туча.

★

До сих пор остается совершенно неизвестным и необъясненным целый ряд случайностей, которые произошли в Лбищенске в роковую ночь с 4 на 5 сентября.

Во-первых, странным кажется, что летавшие 4-го числа летчики ничего не заметили в степи со стороны Кушумской долины. Казаки двигались в среднем верст по тридцать пять за сутки и, следовательно, днем 4-го стояли где-нибудь от Лбищенска за три-четыре десятка верст.

Подобное же недоумение вызывает и ответ конной разведки, которая получила задачу как можно глубже обследовать степь.

Затем дальше. Когда казаки были уже под Лбищенском, дозоры, повидимому, держали себя пассивно и подняли тревогу с большим опозданием. Наконец — и это особенно странно и невероятно — поздним вечером 4-го по чьему-то распоряжению была снята и уведена с охраны дивизионная школа курсантов.

Словом, все обстоятельства сложились таким образом, что дали возможность казакам подобраться к станице совершенно незамеченными и врасплох накрыть лбищенский гарнизон.

Когда на улицах показались передовые казацкие разъезды — это было в 4 — 5 часов утра, среди повскакавших сонных красноармейцев поднялась сумятица. Удара никак не ожидали, а быстро сорганизоваться и дать отпор не могли. Все кинулись сначала к центру, оттуда на берег, к реке. Отдельные группы задерживались на выгодных местах, вступали в перестрелку, но, теснимые превосходными силами казаков, вынуждены были отступать все дальше и дальше к крутому срыву. Чапаев, выскочивший в одном белье, собрал вокруг себя человек шестьдесят красноармейцев и сам руководил этой группой. Но что же могли по-

делать шестьдесят человек, когда на них то и дело бросались в атаку казацкие лавины... В это время на другой улице военный комиссар дивизии товарищ Батурин и начальник штаба товарищ Новиков собрали другую группу человек в восемьдесят, восемьдесят пять и держались настолько активно, что даже сами неоднократно бросались в атаку. Одна из атак была особенно удачна: храбрецам удалось отбить у казаков два пулемета и обернуть их против врага. Но беда заключалась в том, что связи между разрозненно действовавшими группами совершенно не было, и успех одной из них парализовался неудачами другой. Вскоре Чапаева ранило. Окровавленный, сжимая в правой руке винтовку, а левою держа наготове револьвер, он медленно отступал со своими сорока бойцами к берегу. Надо сказать, что по обеим сторонам станицы, по набережной стороне, казаки наставили пулеметов и косили тех, что бросились в воду в надежде добраться до того берега. Однако ж делать было нечего. Храбрецов прижали к самой реке. Раненого Чапаева, насколько было можно, спустили вниз. Он бросился в волны и поплыл... Но силы уже оставляли его, измученного, раненая рука онемела, он стал захлебываться, и, когда был уже совсем близко к берегу, пуля, видимо, угодила ему прямо в голову. Чапаев пошел ко дну.

Группа, бывшая с Батуриным и Новиковым, не сдавалась. Батурин, уже будучи ранен в живот, сам работал на пулеметах и сдерживал казаков до тех пор, пока они не проникли в тыл и по дворам, откуда стали отвлекать наши и без того ничтожные силы. Скоро они рванулись в новую атаку. Цепь наша дрогнула, попятилась назад и побежала... Прятались кто куда. Между прочим начальник штадива товарищ Новиков, с переломленной ногой, заполз в одну халупу, и добродетельная старушка хозяйка назвала его «мелким писаришкой» — и тем спасла жизнь. Батурина

выдали: жители рассказали, что это комиссар дивизии, и казаки с остервенелыми лицами, кровожадные и разъяренные, вытащили его из халупы на волю. Били прикладами, били кинжалами, а потом, видимо, сразмаху ударили головою о землю или о косяк дверей, так как потом, когда разыскали его труп, он был страшно изуродован, черепная коробка была расколота — в ней не было мозгов, в разные стороны торчали редкие волоски повыдерганной бороды; эти волоски склеились косичками, запеклись багровой кровью. Вся одежа была разодрана — ее рвали руками, резали кинжалами, протыкали штыками, секли шашками. Все тело было страшно обезображено, на подбородке зияла глубокая рана.

Когда погибла последняя геройская группа Батурина, организованного сопротивления уже никто нигде не оказывал. Казаки рыскали по домам, по дворам, ловили беглецов в степи, по берегу реки, в перелесках. Группами немедленно выводили их за станицу и ставили под расставлённые заранее пулеметы. Расстреляно было так много, что три огромные каменные ямы у кирпичных сараев не могли вместить покойников — отовсюду из-под рыжей, окровавленной земли торчали головы, ноги, руки погибших героев.

Политический отдел, сражавшийся частью в группе Батурина, погиб едва ли не до последнего человека. Лишь только захватывали какую-нибудь группу — командовали:

— Жиды, комиссары и коммунисты, выходи вперед!

И они выходили — бессильные, но спокойные, бросали в лицо врагам обжигающие проклятья и мужественно умирали после пыток и истязаний. Остальных уводили под пулеметы. Исаев, один из боевых товарищей Чапаева, будучи прижат вместе с ним к реке, выпустил шесть пуль по неприятельской цепи, а седьмую — себе в грудь. И над его трупом тоже издевались; отрезали некоторые члены, прокололи мертвое тело штыками, так изуродовали, что лишь

с трудом его ближайшие друзья по случайным признакам могли узнать в грязном комке земли, мяса и крови славного красного воина Петра Исаева.

Через два часа вся станица была усеяна трупами. Всюду валялись выпущенные кишки, заборы обрызганы были мозгами и кровью, то здесь, то там темнели отсеченные головы, руки, ноги... Казаки справляли кровавое похмелье.

★

В тот же день, 5 сентября, в Сахарной стало известно о том, что произошло в Лбищенске. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Итти вперед, без штаба дивизии, без руководства и снабжения — невозможно. Отступать — трудно: сзади путь отрезан, а из-за Сахарной уже появились новые белые части. Кутяков, командир 73-й бригады, принял на себя командование дивизией и, не взирая ни на что, приказал отступать на Лбищенск и дальше — на Уральск.

С места решено было сняться ночью, сняться так тихо, чтоб казаки не заметили, не услышали. Каждому красноармейцу объяснена была предстоящая операция, все знали, что и как надо делать. Лишь стемнело, начали строиться полки. В средину, в кольцо они замкнули обозы и артиллерию, в арьергарде оставили кавалерийские части, которые должны были сдерживать натиск, если только неприятель заметить и поймет наш маневр. В станице разложили костры, чтобы этим еще более успокоить врага, уверить его в том, что никакого движения не происходит.

Приготовления совершались с поразительной быстротой, в глубокой тьме, среди гробового молчания. Приказания отдавались шопотом и шопотом передавались по цепи.

Лишь кое-где шипели из мрака то укоризны, то легкая перебранка:

— Куда ты, чорт, наехал! Ой, ногу отдавил! Держи левее... Ишь, колесо-то скрипит—смажь... Усилить шаг... Ускорить шаг... — передается по цепи тихая команда.

Все быстрей и быстрей уходят в степь наши отступающие части.

На той стороне спокойно, — казаки уверены, что красноармейцы греются у костров.

Вот миновали Коршенской. А когда подходили к Мергеневскому, издалека — от Сахарной — донесся глухой и тяжкий взрыв. Это последний отходивший кавдивизион вынужден был взорвать церковь, где хранились наши снаряды. Вывозить было не на чем, оставлять врагу было бы бессмысленно — пришлось взрывать огромное здание.

Двое суток шли почти не отдыхая. В ночь с 7-го на 8-е достигли Лбищенска. Сюда еще раньше из Мергеневского пришла 73-я Кутяковская бригада; накануне она выступила и направилась вверх, к Уральску, вслед за ушедшими туда казачьими частями.

В Лбищенске нашли смерть и запустение. Трупы были все еще не убраны, жители прятались по домам, улицы были глухи и страшны. Отправились в поле, где были расстреляны товарищи, отдали честь, последний долг, похоронили их в братских могилах. На поле нашли массу записочек; их набросали наши мученики, когда их вели на расстрел.

«Сейчас меня расстреляют, — говорится в одной, — казаки ведут к ямам... Прощайте, товарищи... Вспоминайте нас»...

«Меня ведут расстреливать, — говорится в другой. — Прощай, Дуня, прощайте, дети»...

«Иду умирать... Да здравствует Советская власть!..» — говорится в третьей.

И так во всех — то проклинают врагов, то говорят, за какое великое дело идут на расстрел, то прощаются с

друзьями, со стариками родителями, с женой, ребятишками...

Подходили бойцы один за другим, опускались молча на колени перед могилами дорогих покойников и так подолгу стояли без слов, полные скорбных чувств, полные тяжких и суровых дум...

Из погребов, подвалов, из-за бань, из огородных гряд, из-под сараев выползали отдельные, случайно спасшиеся счастливцы. Они рассказывали ужасы, от которых седеют головы.

В предбаннике, за выступом каменной стены, в бесчувственном состоянии нашли красного командира дивизиона. Он сражался вместе с Батуриным, а когда был ранен в грудь, дополз сюда, заткнул шинелью кровавую рану и слышал, как в баню трижды вбегали казаки, наскоро осматривали полки и печь, звенели оружием и, как очумелые, мчались дальше. Больше тридцати часов продержался он здесь — без капли воды, без куска хлеба, заткнув свою рану грязной шинелью. Все верил, ждал, что придут свои. И дождался — они пришли. Взяли его бережно, унесли в лазарет. Выжил, поправился, теперь полушутя вспоминает, как спрятался в предбаннике, как мучился и ждал прихода освободителей.

Отдыхали в Лбищенске недолго, тронулись дальше на Уральск. Вскоре, под хутором Янайским, казаки настигли измученные красные части. Здесь был такой отчаянный бой, какого не запомнят даже испытанные командиры Чапаевской дивизии. Ночью, во тьме казаки подползли на восемь шагов к нашим частям, спавшим мертвым сном после бессонных и трудных ночей. Когда от ураганного неприятельского огня наши части уже в панике готовы были отступить, командир артиллерийского дивизиона товарищ Хлебников, Н. М., с исключительным мужеством и находчивостью так сумел повести артиллерийский обстрел, что быстро из-

менил картину боя. Наши ободрились, казаки дрогнули и стали отступать. Много наших бойцов полегло в этом бою, но еще больше полегло казаков; у них были скошены целые цепи, так рядами и лежали по степи.

Больше не было уже ни одного боя, подобного Янайскому. Скоро подошла подмога. Казаки были повернуты вспять. И снова шли через Лбищенск наши красные полки, теперь уже до самого Гурьева, к Каспийскому морю.

Застывали над братскими могилами, покрывали степь похоронным пеньем, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством погибли в расстреле, в жестокой сече или в холодных и бурных волнах Урала.

1/XI 1922 г.

МАРУСЯ РЯБИНИНА

Городской совет помещался в доме фабриканта Полушина. Дом просторный, удобный, комнат хватало на всех; нашлась внизу, под каменной лестницей малая каморка и штабу Красной гвардии. В семнадцатом году мы вовсе забывали, где живем на постоянном житье, — там ли, где осталась семья, здесь ли, в совете, где надо быть на-чеку и ночь и день. И больше времени проводили в совете. День, от зари до полуночи, по заседаньям, в приемах, по митингам — мало ли что! От полуночи до рассвета дремали мы на широких дубовых столах, по лавкам, на притоптанном, смачном полу, кто где наугад умостится. В штабе гвардии круглые сутки содом. Приходили рабочие с фабрик, отмечались, давали сведения о своих отрядах, получали оружие, подписывались на разных обещаниях, правилах, брали инструкции и уходили. Была бессменная возня с учетом, много хлопот было и с оружием; оно частью хранилось тут же в комнатке, частью — во дворе, в сарае; автомобилями возили его сюда из военкомата.

В штабе гвардии впервые я встретил Марусю Рябинину. Была она девушка вовсе ранняя, годов семнадцати. Лицом кругла, в щеках румяна, носик торчал красной шишечкой, светло-зеленые шустрые глаза просверливали через темную изгородь ресниц. Русые гладкие волосы Маруси отхвачены

коротко и неровно; из-под платочка торчали они за ушами и на затылке будто жесткие оборванные пучочки мочалы. Ходила Маруся в кожаной тужурке, в плотной черной юбке — так ходила и лето и зиму, другого костюма не знала.

Первый раз я увидел Марусю в штабе гвардии. Она сидела пригнувшись круто над столом, опрашивала грудку рабочих, записывала то, что рассказывали.

Прошел восемнадцатый год. В январе девятнадцатого мы уходим на Колчака. Ивановвознесенские ткачи посылали тогда свой первый тысячный отряд. Этот отряд развернулся на фронте в полк, и прошел тот полк — Ивановвознесенский полк — страдный путь по Уралу, по Самарским степям, был на Украине, с конницей Буденного. Ходил на белую Польшу.

С первым отрядом ушла и Маруся Рябинина.

Горели пожары весенних боев, Колчак наступал на Волгу. То были дни колчаковских побед, дни, когда по югу раздольными полями в Москву развивал свой ход Деникин, когда по северу рыскали хищным зверьем английские добытчики. Советская Россия нервно дрожала в когтистом капкане упорного, лютого, смелого врага. Надо было резким усильем разжать капканью цепь, вырвать мускулы из темных пут, врага ударить с отвагой сразмаху в лоб. И первым же крепким ударом надо было вышибить дух Колчака. Мы скликали против победного адмирала со всех концов советские полки.

Округлилась крутой железной грудью и встала в упор и глянула дерзко, не мигая, врагу в лицо дивизия, чугунных чапаевских полков. В той дивизии был полк ивановвознесенских ткачей, в том полку шла бойцом Маруся Рябинина.

С переломных апрельских дней врага повернули вспять. В апреле от Бузулука в Бугуруслан гнали мы с присвистом и гиком белое вражье войско.

Есть такое село в просторах от Волги к Уфе — Пилюгино. Его не забудешь целую жизнь. Был под Пилюгином бой. Ревели и выли орудия. Шрапнель целовала огненным поцелуем голубой небесный овал. Как злые цепные псы, рвали, визжали пулеметы. Осеченным колосом падали бойцы, птицами бились в подсолнечных зарослях. Враг смолк. Враг пропал. И сразу остановилась страшная испуганная тишина. Мы мертвыми цепями молча шли по гумнам к затихшим избам села, шли и не знали — как встретят. Неужто роковая засада припряталась здесь по углам? Неужто эти глухие овины, эти молчащие избы стерегут нас страшной тишью? Мы робко ступали, как в погреб, чиненый динамитом. Крался Ивановозвесенский полк, скрипела под ногами непокорная жухлая трава. Шла в цепи Маруся Рябинина. Устало свисла в нервных руках тяжелая каштановая винтовка, глаза горели страстным возбужденьем, но улыбалось открытое, чистое девичье лицо. Полк вкрался в село, тихо вполз в улицу. Село молчало. Враг через гору скрылся в лес.

★

Прошло недолгое время, и снова уж бьется полк у Заглядина, на берегу Кинеля. Был по цепям приказ: приступом взять вражьи окопы. Окопы на том, на крутом берегу; до окопов вброд, сквозь волны, волнами вперед надо внезапно, срыву прорваться бойцам. Берег рыхл и крут, плотно укрыт в нем враг, врагу наши цепи открыты на удар. Как только метнулась команда, кинулись в волны. В первой цепи Маруся Рябинина. Вмиг, лишь в воду скакнули бойцы, грохнули дробью пулеметы из крытых песчаных дыр.

И первая пуля — в лоб Марусе. Выскользнула скользкой рыбкой винтовка из рук, вздрогнула Маруся, припала к волне, вспорхнула кожаными крыльями, тиснулась в волны,

а волны дружно подхватили, всколыхнули теплый девичий труп и помчали весело на зыбких зеленых хребтах. За Марусей, за черной мелькающей тенью, в воде вьющимся алым шнурочком дрожала кровавая струя ..

Полк прорвался на берег. Полк выбил цепи врага, занял глубокую ленту недоступных нор.

Теперь — далеко позади те годы. И нет больше звонкой круглолицей красноармейки Маруси Рябининой. Но не остудишь сердце, как с болью и с гордостью в памяти встанет прекрасный образ. Сколько, Маруся, таких, как ты, верных до последней жизненной черты, ушло в дни кровавой сечи!

Москва,
12/XI 1925 г.

АНДРЕЕВ

Фактического материала об Андрееве у меня мало — нет почти никакого. Но что помню и знаю, передаю с охотой, с особенным настроением, потому что Андреев был из тех, чье имя должно произноситься с гордостью и любовью. Мы ранней весной девятнадцатого года выехали на фронт из Иваново-Вознесенска. С нами ехал Андреев. И за весь долгий путь, за все эти утомительные, долгие стоянки эшелонов не было человека более деятельного в отношении занятий с красноармейцами, не было пропагандиста более неутомимого, чем Андреев.

Приехали в Самару. Из Самары нас четверых (Волкова Игнатия, Шаронова, Андреева и меня) срочно вызвал Фрунзе в Уральск. Тронулись на перекладных. И всю дорогу по селам-деревням, когда мы, утомленные, торопились ко сну, Андреев еще долго-долго толкует, бывало, или с хозяевами дома или в Совет уйдет. Неймется ему, все ему надо узнать, обо всем расспросить. В нем было какое-то органическое ненасытное любопытство, и удовлетворять полностью это любопытство было для него совершенно естественной потребностью. Не утолив этого рода голода, он, видимо, не мог быть спокойным, не мог спокойно спать или чувствовать себя довольным. И благодаря тому, что он слишком много любопытствовал, он всегда больше и лучше нас знал нужды,

доподлинные нужды и круг жгучих интересов, которыми болели собеседники, ежели случится, бывало, нам всем беседовать кружком. Простая умная его речь была убедительна именно потому, что он строил ее незамысловато, на фактах, которые уже узнал и уже успел переварить. Это его первая удивительная черта характера — ненасытное органическое любопытство в лучшем смысле этого слова. Потом — духовная чистота. Он так был верен себе, своим мыслям, своим убеждениям, что величайшим преступлением считал покривить душой даже в мельчайших случаях, всегда и все старался высказать полностью и до дна, окончательно, не оставляя никаких сомнений, никакой недоговоренности. Камня за пазухой держать не то что не любил, а не умел, не мог, натура была совсем иная — прямая, открытая, благородная. Он в разговоре и поступках своих с первого взгляда мог показаться грубым, упрямым, почти скандалистом. И действительно мог бурю поднять там, где другой на его месте только бы улыбнулся. И большой и малый вопрос для Андреева имел большое значение. Он отлично понимал, что, уступая и поступаясь в м а л о м, очень часто и незаметно для себя мы начинаем сдавать и в более крупных, серьезных делах, и так до тех пор, пока иные не портятся окончательно. Охраняя чистоту и цельность, он горячо принимал к сердцу даже мелкие вопросы, мог по ним затевать спор, мог с вами окончательно поссориться, но уж отступиться — никогда. Тут ему ни дружба, ни товарищество, ни связи, ни авторитет, ни, тем более, выгода или карьера — ничто нипочем: все разорвет, все нарушит, ничего не пожалеет.

В Уральске произошел со мной преинтереснейший и поучительнейший случай. Поутру на позицию должны были уезжать Лопарь и Терентий. Я должен был получить назначение завтра. В телеграмме так и сказано: Андрееву и Фурманову назначение будет дано дополнительно завтра,

27-го... Ну что ж — отлично. Мы снова и снова возобновляли разговор о том, сколь много следует коммунистам работать над собой, чтобы сделаться действительными и достойными носителями великого учения, за которое боремся, — учения коммунизма. В нас вросло, от нас пока неотделимо жадное, своекорыстное, подлое чувство частной собственности. Мы никак не можем научиться воплощать в жизни то, что проповедуем. На лекциях и на митингах наших мы говорим много красивых, звонких фраз, но лишь только потребуется эти высказанные положения проверить на опыте, приложить к себе, — пасуем, чорт побери, непременно пасуем. «Товарищи, — взываем мы, — одною из твердынь буржуазного мира является право частной собственности. Это право враги наши всегда использовывали как орудие своего владычества, нашего угнетения, господства и насилия над нами. Мы должны во что бы то ни стало разрушить этот страшный кумир, мы, коммунисты, на примере собственной жизни должны показать, как отвергаем принцип этот и вводим новый — принцип общего, коллективного обладания вещами»...

Эти благородные слова будят мысль человеческую и создают порыв, туманное устремление к чему-то лучшему — но и только. Слова без дел мертвы. А в этом вопросе от слова к делу, видимо, дистанция велика. Слова наши в жизнь не проходят и гибнут до времени, не найдя готовой, унавоженной почвы. Нет никакого сомнения в том, что наше ученье далеко шагнуло бы вперед, если б только мы, его проповедники и глашатаи, на живых примерах собственной жизни показывали подлинное и постоянное его применение, скрепляли бы его самоотверженным подвигам. Но этого нет. Мы — иные. Мы к этому не готовы сами, не дозрели, не прониклись до глубины, до самой сердцевины тем, что усвоили разумом.

На эту именно глубоко захватывающую, бесконечно сложную и интересную тему разговорились мы и сегодня — в наш последний общий вечер.

— Вот, например, — говорит Лопарь, — возьми ты сам себя, Дмитрий. Ну, подумай. Ты имеешь два револьвера. Ты находишься, можно сказать, в сравнительной безопасности. Ты коммунист. Ты знаешь, несомненно, что есть декрет, которым предписывается все оружие нести для армии, знаешь наконец, что у нас его нет, что на фронте страшно в нем нуждаются. Хотя бы только вот на-днях сам ты видел на позиции командира полка. Он стоит всего в трехстах шагах от неприятеля, у него ни револьвера нет, ни шашки, а борьба ведь там частенько идет врукопашную... Он каждую минуту может стать лицом к лицу со смертью и, может быть, завтра же погибнет оттого, что нет у него этого самого револьвера. У него нет, а у тебя два... И он ведь так же, как ты, борется за общее наше, за великое дело, да борется не только на митингах, а в окопах, непосредственно около самой смерти. Ну, прав ли ты после этого? Нет, брат, не прав. И нет у тебя никаких оправданий, да и быть их не может. Момент таков, что требует самоотверженности, а у тебя — да, разумеется, и у нас всех — нет ее, этой самоотверженности. У каждого это в своем и по-своему проявляется... Вот какие мы коммунисты-то — горе одно!..

— Постой, Лопарь, постой, — остановил я его. — Ты прав только снаружи, тебе лишь кажется, что прав ты в этом механическом рассуждении, а я докажу тебе обратное, докажу, что это не так. Этими револьверами распоряжаться я, братец, не могу — да, не могу, права на то не имею, потому что они и не мои, револьверы-то, я взял их у жены, и как же раздам налево-направо без ее-то ведома. Ну, согласись сам...

— Так что же соглашаться, это не резон вовсе, что женины они, — горячо отпарировал Лопарь. — При чем тут жена? И коммунисту этак рассуждать, по-моему, вовсе не подобает. Разве дело-то частное наше? Ты подумай: ведь тысячи жизней человеческих гибнут, война идет, дрожит земля от боя, а ты про жену свою толкуешь, хочешь меня убедить, что прав. Да это оружие никому не принадлежит — знаешь ли это? Ни мне, ни тебе, ни жене твоей. Оно-то уж больше чем что-либо другое — наше общее, и оно немедленно всеми, кто не против нас, должно быть отдано на фронт, туда, где сейчас в нем острая нужда...

Лопарь остановился. Я чувствую, как принижают, уничтожают, раздавили вконец меня его простые, убедительные слова. Я вижу, что несправедлив, но по инерции все еще хочется протестовать и сопротивляться. Довод с женой — глупый, знаю это сам лучше Лопаря. Но револьвер отдать жаль. И я подыскиваю себе оправдания.

— Чувствую, что ты мне говоришь, Лопарь, очень хорошо, чувствую и даже с большинством твоих доводов согласен, но то, к чему ты зовешь, требует не просто высоких, а высочайших и достойнейших качеств от человека — требует самоотверженности и самопожертвования. Я, видимо, ниже и мельче этого, так тебе и говорю: ниже и мельче... Нельзя же всем героями быть. Может, дойду когда-нибудь и до такой высоты, но пока — прости: я, брат, обыкновенный смертный. А от обыкновенного человека, хотя бы и коммунистом он был, не требуй, Лопарь, необыкновенного, ничего из этого не выйдет. Повторяю тебе откровенно, что к собственности своей, хотя бы она и укладывалась вся вот в этом сундучишке, питаю приверженность. Мне жаль, например, отдать сундучишко этот хотя бы тебе или другому кому — не отдам, себе оставлю... Да, проще говоря, мне выгоднее иметь два револьвера, нежели один,

вот и не отдаю — понял? И не отдам. Не отдам и не отдам, что бы ты там ни говорил, как бы ни распинался предо мною. Очень знаю я, что по тебе поступок мой плох, а не отдам... И отвяжись ты, пожалуйста, с этим вопросом больше ко мне не приставай!

— Эка птица, — сверкнул негодующими глазами Андреев. — Очень уж себя-то оберегаешь, мнения о себе что-то уж слишком высокого. Только напрасно пугаешься, — ухмыльнулся он, — никто тебя не тронет, спи спокойно, спи и не рыпайся. Не только двумя — тебе и одним-то револьвером делать будет нечего. Што, в самом деле, за фигура такая, чтобы за тобой еще следили да охотились. У белых, брат, есть достойная одна черта — они попусту не тратят патроны. Коли и возьмутся ухлопать кого, так уж, поверь, найдут посолиднее. Больно ты им нужен. Таких-то героев на всех мостах сушить поразвешено... «Герой»... Жадюга ты — вот кто!

Я чуть дослушал андреевский монолог. Душила злоба. Еще больше душил стыд, пробивающееся сознание несправедливости.

— Еще один, — повернулся я в его сторону. — Да што тебе за дело, как бы я ни поступал?

— Сквалыга, сукин сын!

— Перестаньте, перестаньте, довольно! Ну, что за чорт! — в два голоса завопили Лопарь и Терентий

Я подумал-подумал и решил не обижаться на андреевское оскорбление. Да уж и не такое это большое оскорбление — выслушать «сукина сына». Андреев всегда старается задеть меня за живое, уколоть как только можно больней. Скотина он порядочная, но люблю за твердость, за простоту, за решительность, проявляемую на каждом шагу. Пока он говорит, почти всегда так грубо и озлобленно, мне больно. А когда потом припомню все, что говорил он, только благо-

дарю в мыслях за нагую, откровенную сильную речь. Его слова никогда для меня не проходят даром — они непременно взбунтуют сердце, обеспокоят, растревожат мысли. Часто и во многом изобличал он меня и упрекал. И не напрасно, всегда за дело, всегда серьезно, всегда с пользой. Я ему, конечно, не даю этого понять — не возомнил бы человек себя учителем, а слушать — всегда слушаю, и со вниманием слушаю. Он попадает, обычно, в самое больное место и сверлит, сверлит, сверлит — до полной победы... Вот хотя бы теперь — чем пронял? Да заговорил о качестве моем, об удельном моем весе, о честолюбии, самомнении. Знает, шельма, все пункты, где надо тревожить и донимать.

— Мы вас, — продолжал он в возбуждении, — этаких-то вот картонных интеллигентиков за то и презираем, что все вы пустые болтуны. Ваше дело только и есть что слова говорить хорошие, а чуть коснутся шкурки — вмиг заголосите, завоете, с протестами... И оправданья найдутся. Как же вам без оправданий, разве это можно.

— Да и не думал оправдываться, — протестовал я, но уже слабо, неуверенно протестовал, а дальше — и того слабее. Чувствовал, как почва уплывала из-под ног.

— И тут без слов хороших не можешь, — прижимал все крепче Андреев, — и тут не можешь без фразы: «Извиняться, оправдываться не думал»... А что это значит? Дескать, перед вами и не стоит оправдываться. Эх, ты... чорт моченый, фигурка картонная! Имей хоть смелость сознаться, что жаден, как последняя торговка, и то легче слушать будет, а то ишь, какую ахинею занес, целую философию выстроил.

Я все еще бурчал что-то в ответ, но, повидимому, уже совершенно бессвязно и неубедительно, а он, Андреев, видя

мое бессилие, чувствуя свою правоту и желая добить меня окончательно, наскочил, как коршун:

— Ну, решай, жадюка! Ведь мечешься в разные стороны и не знаешь, чем оправдаться. Нечем, нечем оправдаться-то, не ищи. Разбит ведь на всех пунктах, запутался, как муха в тенетах, заврался бессовестно...

Мне было тяжело. Всю свою фальшь я, разумеется, понимал и чувствовал полностью. Не хватало одного — порядочности, самой элементарной крошечной порядочности да еще такого же крошечного мужества сознаться в том, что был не прав.

И вдруг сделалось стыдно, пред собою стыдно за свое ничтожество. Краска залила все лицо, задрожали руки, я рванулся к револьверу, выхватил его из кобуры и положил перед Бочкиным.

— Ты завтра едешь, Терентий... Ты этого командира знаешь — отдай ему..

И стало мне вдруг чрезвычайно легко и радостно. Андреев поднялся, серьезно посмотрел мне в глаза, крепко сжал мою руку и торжественно, словно благословляя, произнес:

— Ну, не думал я... Молодец Дмитрий! А я считал, что ты кругом подлец. Так-то чаще — пожалуй, и впрямь коммунистом будешь.

Остаток вечера провели в теплой, дружеской беседе. Укладываясь спать, я почему-то вдруг подумал, что так вот все четверо ложимся вместе в последний раз, непременно последний — больше не придется никогда.

21/III 1921 г.

ПАШКА СЫЧЕВ.

Помнится мне, сквозь завесы черного дыма пулеметы врага косили по нашим цепям. И падали бойцы, выбывая один за другим, разрежая ряды. В лихорадочном гуле и свисте снарядов не было дела до жизни человека, и кто упал, кто в клочья разорван снарядом — того не знали. Одни оставались недвижны кусками кровавыми в поле, других кто-то с тылу тащил к повозкам, и там их грузили спешно, привычно перебрасывали с рук в руки, как грузят из вагонов арбузы или огромные караваи жухлого, крытого плесенью хлеба. Сгружали, теснили по-двое, по-трое на колючую солому повозок, увозили прочь с поля.

Всем, кто грузил и кто увозил, было тяжело смутной болью — разом за всех и ни за кого особо.

Хмур и суров стоял командир полка, отдавая приказания крепким и кратким словом, молча вскидывал взор на мертвые возы, что-то метил в походную книжку.

— Убили ротного, Гришука! — сказал кто-то тихо и жутко.

Командир полка дрогнул мохнатой бровью и не сказал ни слова — стоял и молча метил бледные книжные листочки.

— Убили двух батальонных! — кратко рванул страшный крик.

Вздрогнул командир, но остался на месте, сказал, как надо было сказать, сменил двоих и снова стоял — метил книжку, глядел на мертвые возы.

И вдруг не своим кто-то голосом пронзительно взвизгнул над ухом командира:

— Разведчика Пашку Сычева убили!

— Как убили? — резко вскрикнул командир.

— Убили наповал! — словно кувалдой ударил голос.

И я увидел в широких, вдруг потускневших глазах сурового командира слезы; они сбежали торопливо на щетинистые небритые щеки и там пропали. Это было только миг А потом он, как прежде, стоял на посту, отдавал приказания, метил книжку, следил за возами с бойцами, снарядами, ловил летучие вести — делал то, что надо делать такому, как он, в бою.

И когда я спросил потом командира, отчего он слезою в бою помянул Пашку Сычева, малого разведчика, отчего легче принял вести о том, что побиты ротные, батальонные командиры, когда я вспомнил ему, что Пашка Сычев — озорной буян, что Пашка не слушал никогда команду, что Пашке нельзя было много вверить, — когда я все сказал командиру, он проникновенным взором посмотрел мне в глаза и ответил:

— А ты свежее нутро у Пашки чуял?

И, не дождавшись моего ответа, добавил:

— Из Пашки я себе готовил смену — он был крепче и ротных и батальонных, хоть верные были они ребята. Пашка не взнуздан — это верно, зато силу большую имел человек у себя в нутре. И я эту силу в нем сощупал, приметил, я бы той силе и линию дал. Пашкина сила линию одну и ждала. Ан, не вышло. Батальонных, на место тех, других сыщем, а вместо Пашки вот — поискать... Да и не найдешь... Потому — хоть чумной, да редкий они народ...

И с большой тоской в сухих глазах положил командир отяжеленную голову на крепкую широкую ладонь. Мы с ним больше про Пашку Сычева не говорили.

Но теперь, когда я встречаю в жизни такого, как Пашка Сычев, я гляжу ему в глаза со строгой любовью и думаю и мыслями говорю ему:

...Из камней самоцветных самый прекрасный тот, которому даст человек прекрасную оправу. И каждому Пашке Сычеву, сверкнувшему ядреными, свежими силами, как камню оправа, верная нужна линия. Камень без оправы — как младенец новорожденный, Пашка Сычев без пути — как стрела в колчане!

ПИСЬМО СМЕРТНИКА

(Отрывок из неоконченной повести)

Это письмо писал комиссар бригады, которого в утренней атаке зарубили, изрубили в куски. Он был здоровый, умный, рослый, красавец юноша, с огромными голубыми глазами, с огромной темно-русой шевелюрой на круглой большой голове. Крошка Галя могла бы спокойно сидеть, без опаски упасть, на его могучей широкой ладони железной руки. Он ходил всегда с бомбой за поясом, был густо вооружен и напоминал витязя, приготовившегося к бою. Душа была у него открытая, широкая, благородная, но в отношеньях своих с Галей он был всегда резок, груб, дерзко-вызывающий терзатель Галиного сердца. Она — крошка — платила ему тем же. У них была не любовь, а сплошное терзанье. Они переписывались много, долго, регулярно, но письма заканчивались неизменно: «Это мое последнее письмо... Прощай... Мне больше не пиши — я не отвечу... Будь счастлив(а). Все ясно. Прости-прости»...

Все письма в этом роде. А вот последнее письмо — оно оказалось роковым.

★

Сентябрь 1920 г.

«...завтра многих из нас не станет, но помните, братья мои, что мы идем в последний и решительный бой с «луч-

шими» генералами и лучшими стратегами. Помните, дорогие, что не с русской, а с мировой буржуазией вступаем мы завтра в бой»...

(Из речи командарма 2-й Конармии, тов. Миронова.)

Галя, Галя!

Вот и не выдержал я «тона» и пишу вам.

Верите ли вы, дорогая и хорошая Галя, что из душевных глубин вырвано мое письмо? Я чувствую, что скоро убит буду, скоро не будет меня. Галя, меня не станет... Вы представляете, что значит это? Завтра, вся наша 2-я Конармия уходит в «рейд» в тыл противника.

Я смотрю на звезды, на синее украинское небо, на золотую луну, смотрю и упиваюсь всей этой величественной, могучей красотой. Ведь так хороша жизнь, Галя! Ведь так все прекрасно кругом! На душе моей — торжественное молчание...

Где-то там, глубоко-глубоко, на самом дне — стонет и ноет и плачет, расставаясь с жизнью, с этим синим звездным глубоким небом...

Сейчас говорю себе: буду умирать и последний взгляд свой отошлю этому глубокому торжественному небу... Пусть прощальный мой взгляд растворится в бездонном пространстве, в пустынях поднебесья!

Галя! У меня ведь нет никого! Никого нет! И только вам одной посылаю я свой прощальный привет! Завтра меня не станет. И мне так хочется думать — теперь, в эти прощальные минуты, что вы думаете, грустите обо мне... Сегодня все пишут письма домой, родным, а я... Кому я напишу? Только вам — названной крошечной любимой моей сестренке...

Мой ординарец спрашивал у меня: «Товарищ военком, вы кому это пишете письмецо-то?» А я ему: «Сестре, —

говорю, — пишу, сестренке моей единственной и любимой — Гале!..».

Сегодня днем чистил револьвер, а после наточил шашку — хочу дороже отдать свою жизнь!

Галочка! Завтра в последний и решительный бой с мировой буржуазией! Завтра умрем за революцию, за коммунизм!! Завтра решительная кровавая схватка! Если б у меня было парадное платье, я б одел его для торжественности. Но нет его у меня... Галя, прощайте! Я верю в вашу чистоту. Поверьте же мне, моей искренности, поверьте своему брату.

Семен.

10/XI 1919 г.

ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЯ

Вам, вероятно, несколько странно, что в наши дни обыватель рискует выпустить свои записки, но сам я тут почти не причем. Я писал свои записки отнюдь не для того, чтобы вообще их когда-либо отдавать в печать. Я скромен, нетщеславен, нечестолюбив. Я знаю, что записки мои совсем не представляют художественного произведения. Но меня подбил на всю эту историю с изданием записок один мой близкий друг, ныне военный комиссар, отнюдь не обыватель. Он нашел, что в записках есть большой интерес объективного наблюдения, совершенно беспристрастного, подчас ядовитого, но безусловно чуждого всякой классовой тенденциозности. Я нисколько не стыжусь того, что я — обыватель. Всякому свое. Одному дано быть героем, другому этого не дано. Худого я тут ничего не вижу. Во всяком случае можете доверять моим запискам в том смысле, что в них нет ни напрасной злобной хулы, ни раболепного преклонения перед кумирами — я чужд всяких «крайностей» и как выдержанный, настоящий обыватель предпочитаю держаться золотой середины, где и скрывается обычно настоящая правда. Я совершенно не одобряю, например, ту клевету, брань и ненависть, которыми дышат произведения белых публицистов и поэтов (мне иногда попадают в руки их газеты), но — скажу вам откровенно — я недоволен и так называемыми пролетар-

скими писателями, совершенно, даже окончательно ими недоволен. Мне кажется, что они в большинстве лакействуют (простите за грубость). Объективность и независимость, мужество и ясность должны быть непременными для каждого творца, а этих качеств я у многих современных писателей не досчитываюсь. Мне, конечно, укажут сейчас же на переходный характер нашей эпохи на отчаянную, смертную борьбу двух классов и на то, что к этой борьбе все должно приспосабливаться — служить ей или бороться с нею. Это у многих конек. Но как истый обыватель я протестую. На мой взгляд, каждый писатель, каждый истинный творец отображает в своих произведениях тот мир, который отчетливо ему кажется лучшим, а из пролетарских писателей редко кто хоть в мечтах представит себе коммунистический мир. Современные наши писатели просто агитаторы, но ни в коем случае не художники. Поэтому я не люблю их читать. Может быть, классовой борьбе они и служат, об этом не спорю, но искусству, святому искусству — нет. Они не жрецы, а простые служаки. Я даже мало верю их искренности. Мне кажется, что некоторые из них работают исключительно ради хлеба насущного. И это уж не творцы, это ремесленники. Искусством ведь не торгуют, по строчкам его не расценивают. Вы можете мне верить: до тех пор не будет настоящих художественных произведений, пока не будет отменена построчная плата. И наоборот. Лишь только отменят построчную плату, сразу пропадет на рынке вся дребедень, вся макулатура, которая в таком изобилии производится ныне ради хлеба насущного. Это спасет нас от тяжелой работы — среди миллиона дряннейших книжонок выбирать одну хорошую. Когда уничтожат построчную оплату художественного труда — поверьте, что выходить будут в свет только шедевры искусства, ибо шкурнических побуждений тогда уже не будет, искусство творчества не будут

смешивать больше с ремеслом составления. Я не художник, но считаю необходимым сделать попутно это замечание, и сделал я его главным образом для того, чтобы к слову подчеркнуть объективность наблюдений, излагаемых мною в этих записках. Но если бы я был заинтересован — знайте, что они не были бы совершенно объективными, сжато-деловыми и полезными.

Свои записки я начал писать давно, еще с юношеских лет. У меня их накопились целые томы. Здесь я вам отдаю только малую их часть, только те, которые мой приятель нашел современными, даже больше того — полезными для революции. Ну что ж, если полезны — берите. Я рад всегда и кому бы то ни было приносить пользу.

В моих записках, как увидите, фигурируют и чужие разговоры и чужие письма — не одни только мои отвлеченные рассуждения. Хотя я и обыватель, хотя я и чужд всяких партийных крайностей, но многие большевики доверяют мне лучше, чем иному партийному, посвящают меня в разные тайны и держат постоянно в курсе дела. Это им можно извинить: они убеждены в моей порядочности. Я и в своих записках пользуюсь иногда теми сведениями, которые получил подобным образом.

Сейчас закончу предисловие. Уже по нему вы можете видеть, что я совершенно не претендую на художественность. Мысли свои излагаю в беспорядке, как приходят они мне в голову. Это же будет встречаться вам и в записках. Ничего не поделаешь, замучили очереди, некогда засесть и обработать все как следует. Вот когда большевики устроят земной рай, когда будет выдаваться каждому по потребности, когда не будет распроклятых очередей — тогда можно будет заняться и художеством. А теперь до того ли! Я еще удивляюсь тем, которые в такой обстановке составляют разные стишки да песенки. Кажется, где бы тут рифмы подбирать? Ан,

нет — видно, голод не тетка, заставит, пожалуй, и акушером сделаться, не только поэтом. Богатство будущего и нищета настоящего — вот содержание текущего момента. И в данном случае я на стороне тех, которые идут вперед. Не беда и понищенствовать, коли есть за что.

МИТИНГ

Большевики все время называют себя массовиками: мы — масса, мы — с массой, мы — за массу, мы — для массы и т. д. без конца. Склоняют как кому вздумается. Впрочем, следует им отдать справедливость — массу они за эти четыре года раскачали до неузнаваемости. Ежели бы, к примеру, уехать куда-нибудь за границу в семнадцатом году и воротиться теперь, через четыре года, — ну, что же тут скрывать: Россия совсем изменилась, совсем стала не та. Худо ли, хорошо ли — говорить об этом не станем, но изменилась она несомненно и неузнаваемо. Я вот все время с самого февральского переворота наблюдаю со стороны эту изумительную изменчивую порывистую игру общественных сил. Мне все видно, ничто не ускользает от моего пытливого беспристрастного взора. Я вижу, как сталкиваются, расходятся, разбиваются, внедряются друг в друга эти многообразные общественные силы, как они пронизывают друг друга, побеждают или гибнут в борьбе за существование. Ведь общественные силы тоже ведут борьбу за существование, в этом я нисколько не сомневаюсь. Ну, и что же мы видим? Мы видим неизменную победу большевиков. Сочувствуй ты этому или не сочувствуй, желай или не желай, но отрицать факта невозможно: до сих пор никто, нигде и ни в чем их не победил.

Борьба общественных сил далеко вышла за пределы России, она в свой водоворот вовлекла и Европу. Да только ли

Европу? И в этом единоборстве, вооруженном единоборстве, победа осталась за большевиками. И на что ни посмотрю, я всюду вижу одну и ту же картину — нищета, ужасающая нищета, но уже безусловно остановившаяся в своем росте. Все идет на прибыль, на улучшение, хотя и очень туго. Кто же совершил этот перелом, чья же чудодейственная сила остановила рост нищеты, сокрушила всех врагов, с которыми борются большевики? Эта сила — сила масс. Большевики — несомненные массовики. Вы посмотрите только, какую они подымают бучу, когда подступает общественное бедствие, когда им грозит какая-либо опасность! В позапрошлом году Деникин совсем было скушал у них с маслом все Советы. Что же стали делать большевики? Они разбудили всю Россию, заколотили в набат, напряглись до невероятности — и вот вам результат: Деникин уехал в Англию, а войска свои передал большевикам. Или возьмем другие примеры. Больной и раненый красноармеец нуждается в помощи, крестьянину надо помочь запахать землю, донецкому шахтеру надо помочь добывать уголь — обуть, одеть, накормить его, надо обуть и одеть Красную армию, а казенного добра нехватает. Что они делают в этих случаях? А вот что. Бьют в набат и говорят всей блузной и сермяжной массе: если не раскачаешься и не поможешь за такой-то срок — знай, что советская власть погибла; тогда уже пеняй только на себя да на свою неповоротливость. И не было случая, чтобы масса их не поняла или хотя бы опоздала, помощь всегда и во всем приходила во-время. Масса с ними — об этом нечего и говорить. Помню, я сам получил возможность в этом убедиться. Как-то в Советском театре был открытый митинг, который ставил своей целью набор добровольцев для борьбы с Врангелем. Самые речи меня интересовали очень мало, я вообще редко слушаю митинговых ораторов. Меня интересовало другое — настроение массы, ее отношение

к призывам, реагирование на живые вопросы действительности. Пришел я как раз к началу. Духота, вонища, накурили так, что еле видно оратора. Признаться, я был несколько поражен этим многолюдством и никак не предполагал, что через три года почти ежедневных и ежеминутных митингов так полно и плотно могут набиваться театральные залы. Было совершенно ясно, что нового тема ничего не обещает, что будут повторения, скука, однообразие. Но массу, видимо, интересовало что-то другое. Ее интересовало самое существо вопроса, его значительность и серьезность. Внешняя оболочка, самое ораторское искусство для нее стояло на втором, на заднем плане. Выходит небезызвестный и порядочно в нашем городе надоевший официальный оратор, которого, как мне известно, в своем кругу называют «Демосфеном». Этот «Демосфен» — довольно заурядная личность, сравнительно тупой и мало развитой человек. Но за ним — большое прошлое в общественной борьбе, он доступен и понятен массе, он часто совершенно неведомыми путями достигает того, чего не может достигнуть даже хороший оратор. Я помню, как он несколько раз успокаивал в восемнадцатом году рассвирепевшую голодную массу, когда она в своем слепом гневе и возмущении, казалось, готова была все потопить, смять и уничтожить. И знаете, какие он бросал фразы этой возбужденной и страшной толпе? Я даже теперь не могу понять, как только они ему сходили с рук. Однажды он крикнул в ответ на проклятья и угрозы:

— Ну, да чорт вас подери, что же теперь делать-то, если хлеба нет? А раз нет, так нечего и глотки драть попустому. Когда придет — скажем, небойсь, сами не съедим. Давайте-ка приканчивать все эти разговоры да расходиться по домам, а то, я вижу, толку из этого никакого не получается...

Словом, совершенная беспардонность.

Но все это говорилось так просто, безыскусственно и понятно, что у каждого не оставалось больше никаких вопросов, не оставалось охоты спорить и кричать, собрание заканчивалось благополучно.

Вот этот самый «Демосфен» вышел и теперь. Его речь была совершенно бесцветна — просто какой-то набор общих мест и общих фраз, которые мы все слышали тысячу раз и которые всем нам смертельно надоели. Я для примера по памяти приведу здесь краткую выдержку из его пространной, почти двухчасовой речи:

— Вот уж, товарищи, прошло целых три года как мы победили своего ненавистного врага, буржуазию, и после Октябрьской революции взяли власть в свои мозолистые руки. Но не думайте, товарищи, что мы победили окончательно. Нет, мы еще не победили, так как костлявая рука голода хочет нас задушить и хочет отнять у нас окраины. А что у нас, товарищи, на окраинах? Там находятся уголь, хлопок, хлеб, нефть и вообще все, чем живут наши центральные губернии. Товарищи, гидра контр-революции еще не раздавлена, и с ней надо бороться. Если мы победили Николашку Кровавого, кровопийцу-царя, то остались еще тысячи таких кровопийц — буржуи. Эти буржуи затеяли кровавую бойню, в которой наш брат погибает целыми сотнями тысяч. Но за свои ли интересы мы погибаем, товарищи? Нет, мы боролись в этой империалистической бойне только за интересы капиталистов, а рабочему тут не было никакой выгоды. Кто же в этом виноват, товарищи? А виноваты все те же капиталисты... И т. д. и т. д.

Ну, подумайте! Ведь целых два часа такая непролазная дичь, такая ужаснейшая дребедень! Уважения к оратору, правда, не было никакого. Аудитория кашляла, харкала, плевалась, посмеивалась, переговаривалась — словом, внимательности не наблюдалось.

Я на месте большевиков поступил бы по-другому. Прежде всего я воспретил бы членам партии преподносить такие пространные речи, а затем я не выпустил бы таких ораторов, у которых нет ни плана, ни мысли. Все-таки надо же считаться с тем, что теперь не семнадцатый год, что масса уже подросла, развилась, и ее не накормишь одним митинговым пафосом. Наоборот, подобными речами они только отпугивают от себя, только раздражают и озлобляют. Да еще проделывают такие номера: народу наберется полным-полно, а оратора нет. Ждут час, ждут полтора. Потом кто-нибудь сообщает: сегодня собрание не состоится, оно переносится на завтрашний день, здесь, в этот же час. Фика два, на-ко выкуси, так тебе и поверят! Назавтра, конечно, уж никто не придет — не верят, думают, что опять обман получится.

Впрочем, это мои посторонние соображения. Может быть, я что-нибудь здесь и не усматриваю. Во всяком случае, я отвлекся от темы. Это нехорошо, возвращаюсь и продолжаю.

Два часа мы стояли и слушали бесподобную речь «Демосфена». «Сейчас я, товарищи, кончаю», — несколько раз заявлял он нам, но это, оказывается, был только ловкий ораторский фокус. Кончать он и не думал, а даже наоборот, зацепляя одну мысль за другую, он таким образом разгонял свою речь, что ей не видалось конца-краю, не чувствовалось останову. От времени до времени он вставлял веселенькие фразы вроде следующих: «Заканчивая свое краткое слово, я скажу вам, товарищи, следующее»... Или: «Подводя итоги, мы видим»... Но это подведение итогов продолжалось так несносно долго, что все мы в конце концов забывали, чему же, собственно говоря, подводятся эти итоги. Наконец, ковыляя, спотыкаясь, то и дело останавливаясь и приседая отдохнуть, старушка-речь подошла к концу. «Демо-

сфен» в заключение, как водится, стал забирать все более и более высокие ноты, стал подыскивать все более и более красивые и остроумные выражения — и, бог мой, что тут получился за ералаш! Он уже не говорил, а как-то странно взвизгивал, он уже не просто размахивал руками, а грозно потрясал ими в воздухе, словно пытался сокрушить одному ему видимого врага.

Когда «Демосфен» кончил, аудитория дружными аплодисментами приветствовала это долгожданное событие. Начались прения, возражения, справки, поправки и т. д. и т. д. — словом, все шло так, как это всегда происходит на митингах.

Речи выступавших ораторов были кратки, незамысловаты и серьезны. И надо сказать, что у каждого оратора длина речи все время была обратно пропорциональна ее качеству. чем короче, тем лучше. Прения были куда серьезнее, куда содержательнее и интереснее, чем основная речь. Я с удовольствием пробыл еще два часа и видел, что масса из-за пустых и звонких фраз «Демосфена», из-за его демагогических выкриков, которыми он засыпал так беспощадно, увидела, уловила, сумела понять и оценить, почувствовать и разделить ту серьезную мысль, которая была поставлена целью митинга. Когда все закончилось и я подошел к столу, там на листах красовались фамилии нескольких сот добровольцев на Врангеля.

ВЕНИАМИН БАРСКИЙ

Если бы вы знали, как тяжело мне браться за перо! Легче было бы написать целую повесть, чем это траурное предисловие. Ну, ладно. Говорю я про Вениамина Барского, или просто Веню, как я привык его называть с малых лет. Это мой лучший друг и светлейшая личность, которую я когда-либо встречал в своей жизни. Теперь уже Вени нет — его убили, как убили и многих-многих друзей моего далекого

детства и юношества. По какой-то странной случайности, почти все они были активными участниками развернувшихся ныне событий. Я говорю главным образом про тех, которые были со мной во всевозможных кружках, когда мы еще учились в старших классах гимназии в одном из приволжских городов. Почти все они стали одновременно и героями и жертвами общественного движения. Только я один вырос каким-то бобылем и остался почти незаметным ничтожеством. Веню убили не в бою, а верст примерно за семьдесят-восемьдесят от позиций сброшенной с аэроплана неприятельской бомбой. У него, говорят, совершенно размозжило и на кусочки разнесло всю голову. А какая это была голова — удивительная, вся лучезарная и прекрасная. Веня был лучшим, честнейшим и способнейшим в наших кружках. Знаете, с кем мы его обычно сравнивали? С Грановским. Говорят, Грановский в кружках своего времени был тоже прекрасной и незаурядной личностью.

Веня высок ростом, строен, как тополь; носил большие волнистые золотые волосы; всех всегда зажигал чистым алчущим взором своих огромных темно-синих глаз. Он никогда никому не лгал, не льстил и не хвастал. Всегда держал себя просто, и в этой простоте была какая-то непостижимая величавость, которая всех заставляла любить его, уважать и внимательно слушать. Он никогда никому не приказывал, но мысль его всегда была так понятна, точна и метка, что опровергать ее было бы бессмысленно и бесполезно. Его мысли, планы, предположения и выводы по большей части разделялись охотно всеми. Он чужд был крайностей и умел находить такую равнодействующую, которая всех примиряла и объединяла на общем, стержневом выводе.

Между прочим, и теперь, уже в революционное время, эта способность объединять противоречивые мнения и выводы, находить равнодействующую — была одною из наиболее цен-

ных его способностей, прославивших его как отличного организатора. К моменту преждевременной смерти ему едва лишь исполнилось тридцать лет. Как видите, он был еще совсем молод, а между тем слава его гремела уже давно и громко по доброй половине Советской России.

Революция застала Веню в ссылке в далекой Енисейской губернии. Когда мне приходилось говорить с товарищами, вместе с ним отбывавшими ссылку, я слышал неизменно единодушное утверждение, что Вениамин Барский — драгоценная, благородная и светлая личность, которая в хмурой и скучной жизни ссыльных светила удрученным и усталым, как полярная звезда. Все в один голос утверждали, что благодаря Барскому, его неиссякаемой вере в жизнь и конечную победу труда, его живой, неукротимой энергии, его постоянной светлой радости — бесконечно многое было сделано для семьи ссыльных товарищей. Веня усердно там занимался изучением научной литературы, поскольку она попадала ему в руки, и, несомненно, был одним из образованнейших, одним из убежденнейших марксистов. И вот такого-то человека подкосила смерть всего на тридцатом году жизни. Советская Россия, несомненно, потеряла в его лице крупнейшего исторического деятеля, мужественного, энергичного борца и бесспорно благородного, безукоризненно чистого человека.

После смерти мне передали все его записки и дневники как ближайшему его другу, который до последнего момента не терял с ним духовной связи. Таким образом вы видите, что отношение мое к Вене самое восторженное. Меня если уж и можно в чем заподозрить, так это в преувеличенно нежном и радужном отношении к покойному, но ни в коем случае не в обратном, т. е. неприязненности, злобе, зависти, неотмщенной обиде и вообще в чем-либо ином в этом роде. Я его как любил при жизни, так люблю и теперь. Но я хочу совершенно беспристрастно обнажить то, что неожиданно

вскрылось передо мною теперь, когда в мои руки попали его дневники. Если бы все, что я передам, не было написано собственною рукою самого Вени, если бы мне об этом кто-то рассказывал чужой, я никогда-никогда бы этому не поверил. Но передо мною лежат молчаливые и так много говорящие документы, передо мною факты, против которых невозможно спорить. Я решаюсь опубликовать некоторую часть его дневника. Делаю все это единственно за тем, чтобы лишний раз показать и доказать, как «сознание определяется бытием». Я хочу, как на образце, на светлом и благородном Вениамине Барском продемонстрировать некоторые психологические картинки современной действительности, к которым, разумеется, нельзя относиться совершенно безразлично. Следует еще добавить, что Веня занимал высокий пост члена армейского Реввоенсовета, который, с одной стороны, давал ему широкий размах, а с другой стороны, в равной мере, ко многому и обязывал. Помещаю выдержки из его дневника.

*

22 июля.

Сегодняшний день является историческим днем моей жизни. Сегодня я, Вениамин Барский, впервые участвовал в бою. Что за многообразие чувств, что за странные ощущения, что за удивительное состояние! Я вел себя как трус, который хочет показаться героем. Впрочем, тут нет ничего ни нового, ни удивительного. Старые, прокаленные вояки говорят, что в первом бою вели себя трусливо даже самые храбрые и мужественные впоследствии бойцы. Но они, может быть, только вели себя трусливо и больше ничего. А я (какой ферт!) я даже трусость-то свою все старался выдать за лихую удаль. Когда наступали наши цепи, я все время гарцовал перед ними (заметьте — перед ними!) на коне, я скакал с одного фланга на другой — и непременно с суровым

и деловым выраженьем лица и непременно насупив брови, словно что-то придерживал во лбу, опасаясь, что оно выскочит от слишком быстрой езды. Но это гарцование продолжалось недолго, я даже могу точно сказать до какого времени: до первого выстрела — ха-ха! — до первого выстрела, чорт побери, никак не дальше. После первого выстрела я был уже позади цепи, а когда началась перепалка, я поспешил ретироваться в совершенно безопасное место. За перепалкой, как водится, открылась настоящая пальба, и скоро, как горох, посыпались снаряды. Тут уж мне стало совсем не по себе, я скрылся за бугорок, привязал своего коня к чьей-то телеге и улегся в продолговатую неглубокую лощинку. Но увидев, что снаряд может кувырнуть меня и из-за бугра, я приподнялся, осмотрелся, отвязал дрожащими руками своего коня, кое-как попал в стремя ногой — и был таков. Знаете, куда улетел? За восемь верст в тыл. А знаете, как это объяснял всем, кто это видел? «Еду, мол, проверить обозы — все ли там в порядке, да кстати прихвачу два-три пулемета, которыми буду руководить самостоятельно». Словом, молол какую-то чушь. И кто знал меня, тот понимал, что это чушь, ибо с пулеметами дела я никогда не имел, ничего в пулеметном деле я не понимаю и уж во всяком случае «руководить» ими в бою никак не мог. Таких «проверяющих обозы» я встретил в тылу несколько человек. Тоже все трусы. Ну, мне-то простительно, я хоть в первый раз, а тут в обозе (даже второго разряда) я встретил довольно почтенных вояк, отличных рассказчиков о своих доблестях и заслугах, скандальных и храбрых за чашкой чая, свирепых и неукротимых в обращении с вестовыми, конюхами и ординарцами.

Если история выхватит этот случай в одиночку, без связи с предыдущим и всем последующим, — она назовет меня трусом. Но это будет крупная ошибка, ибо, вообще-то говоря,

я не трус, да это я и доказал впоследствии неоднократно. Я занес к себе в дневник этот больше смешной, чем преступный факт исключительно для полноты всей картины моей жизни, моих поступков и переживаний. Не судите, если не хотите быть судимыми. Подобных грешков у каждого много.

15 августа.

Помните, у Лермонтова где-то сказано, что «и к свисту пули можно привыкнуть». Так вот я могу теперь на основании собственного опыта засвидетельствовать, что Лермонтов был прав. Во всяком случае сам я всего за какие-нибудь три недели настолько освоился с этим свистом, что уже не нагибаюсь, не робею, когда заслышу этот пронзительный характерный звон невидимого и смертельного зверка. Некоторое беспокойство, разумеется, осталось, особенно в начале перепалки, но ужаса, смертельного страха — нет.

Другое дело — орудийная пальба. Когда мы подъезжаем с комбригом (вы должны знать, что я уже назначен военным комиссаром бригады) под снаряды, я вот уже несколько раз переживаю одно и то же состояние: пока разрывы доносятся глухо, издалека, я только прислушиваюсь и настораживаюсь, но каких-либо острых ощущений совершенно в себе не замечаю. Едем дальше, все ближе к бою; вот в полуверсте упал и дико ухнул разорвавшийся снаряд, нам видно, как взметнулась, заклубилась земля, как заметались в разные стороны человеческие фигурки... У меня холодеет во рту, будто кто-то положил мне на язык мятного порошку. Я уже не могу улыбаться, а если и пытаюсь — выходит, вероятно, очень неестественно и глупо. Я перестаю разговаривать со спутниками и даже отъезжаю несколько в сторону, когда едем группой. Для чего отъезжаю — не знаю. Может быть, для того, чтобы меня не тревожили вопросами, не раздра-

жали и не видели беспокойного состояния. Но может быть, я отъезжаю и потому, что в группе ехать опасней, что в группу могут скорей ударить снарядом. Еду и думаю, напряженно о чем-то думаю. Ясной мысли нет, но все, что мелькает в голове, крутится вокруг снаряда, визжащего и гудливого полета, ужасного громового разрыва. Бр-р-р... Взор мой становится напряженным и устремленным вперед — только вперед, и больше никуда. Я уже не оглядываюсь назад, даже не смотрю по сторонам, смотрю только вперед, почти по прямой, туда, откуда несутся снаряды. Вот мы в полосе обстрела, в кольце разрывов, каждую минуту ожидая смерти, едем все дальше к цепям.

Мое состояние можно сравнить с туго-туго натянутой струной. Я весь — напряжение, весь — ожидание. Тут мне страшно — холодным, мрачным животным страхом. Это состояние продолжается до тех пор, пока не прекратится пальба или мы не уедем обратно из зоны обстрела. Свиста пули я уже не боюсь, во всяком случае захватывающего страха не испытываю. Но орудийные громы выводят меня из состояния равновесия и заставляют дрожать и мучиться, напрягаться до полного окостенения.

20 сентября.

Мой командир бригады, Степан Исаич Крюков, отличный человек. За это недолгое время я успел его понять, оценить и полюбить. В кратких словах вся его биография сводится к следующему.

Сын богатого домовладельца из Таганрога, недоучка, пьянчужка в прошлом и трезвенник в настоящем, кадровый офицер в чине капитана — он за всю революцию ни разу ни в чем не был заподозрен, ни разу не покушался сделать советской власти какую-либо подлость и за хорошую работу имеет на руках целую кипу всяких отзывов и рекомендаций.

Мы с ним подружились быстро, как вообще быстро дружатся на позиции, под опасностью. Он отлично понимал принципы, по которым построена наша армия, нисколько не тяготился наличием «смотрителя»-комиссара и так поставил себя во всей работе, что я не мог им нахвалиться своему политическому начальству.

Уважаю я Крюкова и за то, что на позиции он чувствует себя совершенно так же, как в штабе бригады. Под орудийным огнем, когда всё ежится и прячется, Крюков держится с большим достоинством. И красноармейцы любят, тоже уважают его за это мужественное спокойствие. На позиции быть храбрым и мужественным — это значит уже наполовину завоевать любовь и уважение всех бойцов. Когда я разбираюсь в причинах, побуждающих его держаться так прекрасно и часто рисковать жизнью даже там, где можно бы и не рисковать, я недоумеваю, не понимаю побудительных стимулов. Казалось бы, ему, кадровому офицеру, человеку совершенно иной социальной среды — что ему до советской власти? Но нет, он рискует, часто и серьезно рискует. Зато каждый бой приносит ему новую славу и новую известность. А этим он дорожит. Мне не нравится в нем одно — способность все представлять в преувеличенном виде, фантазировать. Наскочит, например, на нас какой-нибудь неприятельский разъездишко, ну, немного пощиплет, подебоширит, пользуясь внезапностью, а потом, разумеется, ускачет. Дело пустяковое, о нем даже и говорить не стоит, так обыденно оно в боевой позиционной обстановке. А Крюков и этому делу спуску не дает: сейчас же его распишет, раскрасит, представит так, будто тучи неприятельской конницы окружили бригаду, но после жестоких и кровопролитных боев неприятель был разбит на-голову, рассеян и угнан из пределов бригады. И тут же непременно скажет и про свое руководство операцией, даже про личное участие... Ну —

чорт его возьми! — хвастун, да и только! За это я его недолюбливаю, а во всем остальном — отличный, чудесный человек.

Я однажды его спросил по-приятельски:

— Степан Исаич, — говорю, — что это у вас за странная манера все преувеличивать? Мне уж выговор был за четыре наши донесения. Оказывается, в бою под Хапиркой мы не восемь пулеметов отбили, а только один, и пленных забрали не четыреста, а только сорок человек... Про это из полка кто-то донес помимо нас, узнав, что сведения были посланы неточные. Ну, зачем вы меня тогда уверяли, что восемь? Я же знал, что восьми пулеметов мы не отбили, и писал исключительно из доверия к вам...

— Эх, вы, — говорит, — дитя, дитя малое. Да кто же это дает точные и правильные сведения? Если про себя не скажешь да не заявишь, так тебя никогда и не увидят...

Он посмеялся и как-то снисходительно, по-отечески похлопал меня по плечу. Я смутился и даже ощутил некоторую неловкость — не то от этого похлопывания, не то от своей наивности. С тех пор я никогда не забываю его простые и сильные слова:

«Если про себя не скажешь да не заявишь, так тебя никогда и не увидят».

24 октября.

Стужа. Начинается скверная, дождливая осень. Не люблю я ее — на душе невесело. Впрочем, может быть, это не от осени, а от чего-нибудь другого внутри у меня такая непролазная слякоть... Да, это, пожалуй, будет вернее... И я даже знаю — от чего: от лжи, которою я начинаю проникаться, которая начинает пронизывать все мои действия, все помыслы, все поступки. Во мне совершается какой-то страшный психологический сдвиг. Я не узнаю себя, я разлагаюсь

и не протестую против своего разложения, не борюсь с ним. Очень жаль, что у меня так мало свободного времени и что так редко могу заносить свои беглые мысли в этот любимый дневник. Здесь нужно бы изо дня в день непрестанно наблюдать весь ужасный процесс моего гниения и подробно говорить про каждую деталь. Но не могу — времени нет. Отделываюсь только мазками, общими штрихами, которые раз или два в месяц сюда заношу. Я заразился неизлечимой, смертельной болезнью — честолюбием. Мне кажется даже, что я и не заразился, а только вызвал к жизни, пробудил ее, вечно дремавшую, вечно меня беспокоившую мучительную болезнь. В самом деле — я ведь так любил быть первым!

Даже в ссылке, среди моих друзей, среди лучших из лучших, я тонко плел свою паутину, затягивал всех в золотые тенета своих ласк, своих обворожительных приемов, своих тонких и хитрых щедрот... Я был другом всем, я каждого ласково принимал и провожал, я каждому помогал чем мог, но знает ли кто, чем руководился я, когда делал все эти добрые дела? Был ли я чист в своих помыслах? Был ли я бескорыстен? Был ли искренен? Нет, нет и нет. Я все делал лишь для того, чтобы меня любили, хвалили, про меня говорили, мною восторгались. Непосредственности и бескорыстия не было. Я поступал как коммерсант и наживался на простоте, чистоте или недальновидности других. Но там был небольшой кружок, там было узко, негде было разгуляться моему честолюбию. И совершенно естественно, что оно не было заметно. Чем больше я вдумываюсь в свое прошлое, тем яснее вижу, что я всегда, с самого детства был непомерно честолюбивым, что болезнь моя теперь только ожила, распустилась пышным цветком, ибо нашла подходящую почву и обстановку. Правда, первые дни революции, те дни, когда я только-что воротился из ссылки, были днями абсолютно бескорыстных и чистых порывов. Я забыл о себе.

Я жил как бы вне себя самого, я был поглощен работой...

И до самого последнего времени, до встречи вот с этим Крюковым я никогда-никогда не бывал так всецело поглощен самим собою. А теперь! Какая дрянь у меня в душе! Как однообразны мои желанья, как скучен и мерзок стал я самому себе! Мои поступки пронизывает ложь. Это ново, и этого прежде я за собою не замечал. Я был выше лжи и никогда не достигал даже честолюбивых планов столь жалкой, дешевой ценой. Я уже не протестую больше против бессовестных измышлений, на которые так щедр мой прекрасный комбриг. Я раскусил его целиком и понимаю теперь отлично все его поступки. Я больше им не очарован, я только поражаюсь той простоте и прямоте, с которыми он пробивает себе дорогу кверху. Он — карьерист, а вместе с ним карьерист и я. Разница в том, что он в этом почти сознается открыто, а я все еще робею, стыжусь и краснею, как девушка. Он откровенно говорит, что может командовать целой армией, а не какой-нибудь бригадой, и это все ему необходимо делать так, чтобы таланты его были усмотрены. Для этой цели он употребляет все средства и главным образом — ложь. Я лгу вместе с ним. И так же, как он, охвачен величайшим самомнением, бесконечной верой в свои дарования. С другой стороны, я все пренебрежительней, все пристрастней отношусь к деяниям тех, которые стоят надо мною, вижу у них одни лишь ошибки, не замечаю крупных заслуг и еще больше убеждаюсь, что я, сам вот я тоже смогу руководить не одною бригадой, что я недооценен, что мне нужен больший размах и большее поле для работы. Мне уже хорошо и точно известно, что в армии знают обо мне как об одном из лучших комиссаров и что, следовательно, недалеко до перемены должности. О, проклятие, как стыдно мне об этом писать! И все-таки это живой и убийственный факт:

я думаю о перемене должности, о повышении. Так, значит, я тоже карьерист? Фу ты, чорт, какая гадость! Только плюйся — не плюйся, а факт налицо — и меня перебороли темные инстинкты.

2 ноября.

Как все это вышло странно, словно по расписанию, словно чья-то воля руководила событиями. Я еще только думал и только хотел, а факты опередили даже самые смелые мои мысли... Пропустили через дивизию — и прямо сюда, в штаб... А как я неловко себя чувствовал первые дни! Даже не верилось, что вдруг такая перемена: я, Вениамин Барский, — и вдруг комиссаром штаба целой армии. Хлестко. Значит, цена на дорогие товары подымается. Я поскорбел о своей бригаде, даже поупрямился для виду, ходатайствовал, чтобы оставили меня там и никуда не переводили, но, разумеется, все мои несерьезные попытки оставлены совершенно без внимания. Я играл наверняка. Поддал фасону, нагнал на себя апостольское смирение, заявив, что на высокий пост не гожусь, что и теоретически слаб да и практика небольшая, а сам себе ухмыляюсь да подумываю: «Чорта два, того и гляди, что не годен... Да я не только эту, а в три раза более высокую должность — и то буду занимать с успехом»... Держусь я на новом посту совершенно независимо, даже на первое время, пожалуй, несколько флегматично, дабы не показаться прыгающим от радости козлом... Никто и помыслить не вздумает, что я так рад в душе этому событию со своим назначением, — наоборот, в большинстве даже успокаивают меня и советуют бросить тужить и скорбеть о любимой бригаде. А я и думать-то не думаю про бригаду. Вот была бы штука, если бы кому-нибудь попали в руки эти мои откровенные записки! Прости-прощай — всю свою репутацию испортил бы мигом. На самом деле я уж не такой

дурной человек, как может показаться по моим запискам. Надо помнить, что здесь я обнажаю «святая святых» моей души, здесь я не касаюсь очень многого, что могло бы безусловно подрисовать меня и с другой стороны. Это неважно да никому и не нужно. Меня сейчас увлекает только этот прогрессивно и жадно растущий процесс моего разложения. Я остальное пока целиком отбрасываю в сторону, а ведь у меня тоже есть большое содержание в жизни — содержание общественное, семейное и личное. Но молчу, не стану второпях задевать то, чему следует уделить специальное внимание. Мне чудится, будто все до одного больны тою же самой болезнью, которою болен и я: смертельным честолюбием. Я называю честолюбие именно смертельным, потому что ради него, мне думается, человек пойдет на все — так неудержима тяга, так велико обаяние. Все больны, но все скрывают. Только одни скрывают ловко, а другие — никуда не годится; одни всматриваются — и видят, а другие хлопают глазами и ничего не замечают.

Я не могу без смеха слушать этого черного, как галчонок, хвастунишку Ломова. Он то и дело указывает всем собеседникам на худые свои штаны и утверждает: «Вот у меня одни, больше — хоть шаром покати, а не беру, не хочу взять, ибо считаю преступлением. Пока не свалятся — других не возьму».

Этот галчонок примитивным способом пропагандирует свое нестяжание, свою чистоту и сознательность. Только редко на кого производит впечатление подобная глуповатая пропаганда.

Вот Генкин — этот похитрее: про себя ничего не говорит, а между тем на каждом собрании считает долгом высунуться и болтнуть несколько слов, дескать — знай наших, мы тоже не лаптем шиты и можем кой-чему учить.

Хруль практикует иной метод: приказал сорвать с дверей все указания и воспрещения, вроде «Без доклада не входить», «Прием от 8 до 4» и т. д. — приказал всё сорвать и пускать всех, когда бы и за чем бы они ни пришли. Ну, конечно, время у него растрачивается глупо и попустому, весь день он болтает с посетителями о мелочах, но зато вокруг своего имени он создал, как выражается сам, некоторую «атмосферу уважения и благодарности» среди досужих посетителей. Словом, каждый на свой манер утверждает свое имя в истории. Хитер народ, ой, хитер! Иного и не подозреваешь ни в каких честолюбивых помыслах — ан, вдруг проговорится как-нибудь неосторожно, и увидишь, что человек в Наполеона гримируется. Не стану лукавить, скажу и про себя: быть членом Реввоенсовета для меня нисколько не трудное дело, и, если только это произойдет, я, несомненно, буду одним из лучших ревсоветчиков. А почему бы и нет? Чего мне, собственно говоря, не хватает? Скромничать, конечно, могу и я, но если посмотреть на себя объективно — гожусь, очень гожусь на большую работу. У меня революционное прошлое, есть и знания, есть несомненный и ясный ум, есть решительность в делах — чего же больше? В ближайшие дни открываются крупнейшие военные операции. Мне придется выложить на стол весь багаж и все свои таланты. Ну, лицом в грязь не ударю: чем круче буря, тем выше гребни.

19 ноября.

Благородный Раймер, член Ревсовета нашей армии, убит. Это известие подняло на ноги всех, кто его знал и любил. А любили его, мне думается, все. Такой светлой личности я не встречал, такого доброго сердца я не знаю. Долго и тщательно всматривался я в его поступки, усиленно искал я в них все тех же мотивов, которые вижу повсюду, — но нет, у покойного Раймера, видимо, не было задних мыслей, он

слишком был чист для того, чтобы лукавить и лгать. Он погиб в бою, и как раз вместе со штабом той самой бригады, где я прежде был комиссаром. Передают, что в нашем командовании было что-то неладное, но установить ничего нельзя. Погиб и Крюков — мой смелый и славный комбриг. Жаль — хороший он был человек, железный и прямой. Сейчас вот такое состояние, как будто я сам чем-то виновен в его гибели.

Пришла с фронта срочная телеграмма — приказывают мне временно замещать убитого Раймера. Ну что ж — дело не совсем новое, кое-что и в этом понимаю. Операции развиваются с невиданной быстротой. Мы идем вперед — движемся неудержимой, всесокрушающей лавиной. Весело, душа радуется! Хочется самому совершить какой-то невероятный подвиг.

20 ноября.

Смешон был мой дебют на новом и славном посту. Я впервые сел за зеленый стол, где прежде сидел покойный Раймер, и ощущения мои были многообразны и неопределенны. То становилось жутко за ответственность, которую принял, то ужасала работа — головокружительная, огромная, сложная, то становилось неловко и чего-то стыдно, как будто я — малый ребенок и сел за рабочий стол своего отца, то вдруг охватывало неудержимое веселье, все внутри начинало дрожать от радости и гордости за то, что я парю высоко, что я не слизняк, не ничтожество. В соответствии с моим состоянием и настроением, вероятно, менялось и выражение моего лица, менялись и позы и даже самая манера принимать посетителей.

Я хорошо помню два приема. Начальник санитарной части пришел как раз в тот момент, когда я чувствовал себя ребенком, забравшимся за рабочий отцовский стол. Я принял его неуверенно, не знал, что сказать, какие задать ему вопросы.

Всем своим видом я как будто извинялся за то, что вынужден вот по роду службы встать к нему в отношение начальника, приказывать ему, указывать то, что он знает не хуже моего. Но начальник санчасти слишком умный и тактичный человек — он, видимо, понял причины моей неуверенности и сократил до крайних пределов свою интересную и серьезную беседу.

Влетает инспектор кавалерии. Но ему уже не застать меня растерянным. О, нет, я совершенно крепок, я свеж и радостен, я бодр и знаю — знаю себе цену, чорт возьми! У меня спирает дыханье, когда подумаю, какое высокое место занял я на общественной лестнице. Так буду ли я перед каким-то инскавом ощущать себя как божья коровка? Я насупил брови, нахмурил лицо, придал своей осанке некоторую горделивость и разрешил сесть лихому инспектору. Он держал себя безо всякого достоинства, как самый рядовой подчиненный, не имеющий собственного мнения. Тем легче было мне управляться с ним. Я авторитетно надавал ему целую кучу распоряжений, указал на ряд общих дефектов работы, всем известных и пока совершенно неизлечимых, держал себя настолько с гонором и фасоном, что бедный инспектор даже начал вдруг что-то спешно записывать в свою книжечку, видимо, опасаясь забыть мои наказы. Я торжествовал.

Я одерживаю победы, хотя и знаю, что этим победам грошевая цена. Главные трудности впереди — когда я столкнусь с начальником Особого отдела или председателем Трибунала. Вот тут поистине будет или блестящая победа или трагический разгром. Их взять под себя можно исключительно силой личного авторитета, ибо формально они во многом остаются за пределами моей компетенции. Ишь, как гладко и научно! Ну, что за глупости, и отчего это я как будто смущаюсь и тушуюсь перед своими мыслями? Обоих я видел

несколько раз, с начальником Особого слегка даже знаком... Пресимпатичные ребята! Все мои опасения, несомненно, глупы. Внушить к себе уважение я умею даже самым бессовестным людям, не только товарищам по работе — ответственным и бесспорно заслуженным, каковыми являются они оба.

Довольно, об этом больше ни слова. Я живу теперь в каком-то новом и странном состоянии, я уже не тот, что был несколько дней назад: и мысли мои иные, и настроения, и приемы, и все, все во мне переменилось. Я себя не узнаю, — как будто и тот же, да не тот. Я замечаю, что каждая должность, каждый пост накладывают на человеческую личность свой особый отпечаток. В одном положении человек спокоен, тверд, умен и авторитетен, вы слушаете его с удовольствием и с легкостью, понимаете и исполняете все его приказания. Снизили — и перед вами обнажается совершенная тряпка, жадно-завистническая фигурка, склочник и обормот. А повысили — начинает тухнуть, разлагаться. Видимо, существует в исполняемой работе какой-то предел, выше которого человеку в данном его состоянии не следует переступать. Другое дело, если он прибавит себе свежего багажу, подкрепится знаниями, покритикует себя поглубже и посерьезней, подучится, — ну, тогда, быть может, и полезно его поднять выше. Видно, только поистине великие неизменны, только на них посты и должности не накладывают своей печати. Вон Ильич или Бухарчик — как жили в подполье, так живут и теперь. Я их прошлой жизни сам не знаю, но слыхал про нее часто и слыхал всегда одно и то же. Мне говорили, что это была жизнь, полная высокого благородства и совершенно бескорыстного служения великому делу. Удивительные они, замечательные люди! Вы только послушайте молву — уж не говорю в рабочей, даже в обывательской среде — послушайте и поймите. Ведь это сплош-

ное благоговение, глубочайшее уважение именно как к людям кристальной чистоты. Их простая жизнь, без грому и треску, у всех на глазах, имеет большое агитационное значение. Мне думается, что если бы Ильича из председателей Совнаркома перевести политруком в роту, он и глазом бы не моргнул, а работал бы там, в роте, с тем же подъемом, с каким работает и теперь. Это признак великого человека. А вот нашего брата попробуй снизить — разом вломится в амбицию. Что да почему, да разве я недостоин? Конца нет обидам и вопросам. Среди вождей не все у нас великие люди — есть и фантазеры, есть поклонники быстроногих балерин, есть эффектные форсуны и шикуны — и вот их-то поведение агитирует как раз в обратную сторону. Не подумайте, что я говорю только про обывателя, что его это возмущает — мне уж можете поверить: этим глубже всего возмущается сознательный рабочий, который привык в большевике видеть прежде всего серьезного, абсолютно честного и чистого человека-борца, а не какого-то элегантного франта и веселого хвастуна. Не прячьтесь тоже за красивое словцо «демагогия», — я говорю сущую и неопровержимую правду! И если вы здесь посмеете уцепиться за это слово, так произойдет это единственно потому, что больше цепляться вам не за что. Остерегитесь.

Ну, что это я сегодня как зафилософствовал? Уж не новый ли пост сказывается? Вот развиваю и защищаю теорию личной чистоты — а сам? Доказать-то не штука, а вот изо дня в день, из часа в час проводить в жизнь все то, про что говорим, это действительно штука!

3 декабря.

Теперь нас трое в Ревсовете. Приехал Фигнер, пробыл два дня и уехал с командующим на фронт. Я Фигнера знаю, человек как будто хороший, и работа должна пойти дружно.

Я крепко сижу в своем кресле. Две недели назад я подходил к нему робкими, неуверенными шагами, томился мутными сомненьями, не знал, с чего начать и где остановиться... А теперь? А теперь я убеждаюсь лишний раз, что у меня есть очень ценная способность ориентироваться в любой обстановке, быстро осваиваться с любым делом, смело брать быка за рога. Это хорошо. За две недели я уже успел себя отлично зарекомендовать перед фронтом и вчера в секретном пакете получил назначение действительным членом Реввоенсовета. Это укрепило меня еще больше, придало новую смелость и силу в работе. А работы так много! И я ее не отталкиваю, не отбрасываю от себя — наоборот, стараюсь всем доказать, что я действительно отличный талантливый работник. На фронт уже не показываюсь, сижу и работаю больше в своем кабинете. Да это и понятно — у меня совершенно не остается времени для разъезда по цепям.

Но это не все, есть еще причины, про которые редко кто знает и догадывается. Все содержание и цель моей жизни сводятся к тому, что я утверждаю свое имя в истории. Работа, риск, отвага — это для меня только средства. А имя утверждать можно ведь не только в цепях и не только личным риском и смелостью. Было время, рисковал и я, но теперь надобность в этом уже давно миновала. На этот счет я постоянно вспоминаю слова одного заслуженного боевого командира: «Был, — говорит, — я рядовым, и грош была мне цена. Сам я себя ставил ни во что, жизнь свою не хранил и лез на рожон. Как только, бывало, в разведку или в налет — я тут как тут. А теперь, когда стал командиром, я понял, что и из меня толк получается, начал верить в себя... А уж раз начал думать про себя, значит стал и остерегаться, — в разведку и в налеты больше не скачу и очень даже стараюсь о том, чтобы каким-нибудь образом свою жизнь охранить и сберечь».

А ведь это один из лучших и даже один из храбрейших наших командиров. Прекрасные исключения только подтверждают общее правило. Но таких людей мало. В большинстве же случаев кабинет заражает классической и хронической трусостью. Личные качества и достоинства (не общественная ценность) бледнеют и понижаются в соответствии с продвижением вверх по общественной лестнице. Исключения и здесь только убеждают в правильности общего положения.

За эти последние две недели мы неизменно гоним белые полки и одерживаем блестящие победы. Скоро свою задачу мы сможем считать разрешенной, и армию, кажется, перебросят на другой фронт, где нависли черные тучи. Ну что ж, нашей армии не привыкать кочевать.

6 июня.

Целых полгода прошло с тех пор, как последний раз писал я в своем дневнике. Ух, как много! Даже не верится. Мы уже сменили два фронта. Какое богатейшее и интереснейшее содержание у этого минувшего полугодия! Только некогда писать, а то можно бы выпустить целые томы... Сообщаю человечеству одну чрезвычайно важную новость: я женился. Сам по себе факт женитьбы, разумеется, мелочь, но для меня он имеет характер большого и значительного события. Распространяться об интимной и личной стороне этого факта здесь не место. И я беру его лишь в кругу общественных событий. Жена моя — дочь буржуазных родителей — полна до сих пор буржуазных предрассудков, частенько сажает меня в галошу своим нелепым поведением, злоупотребляя моим доверием и высоким общественным положением... Я все это вижу, стараюсь ей внушить, что и как нужно делать, стараюсь ее перевоспитать и даже верю, что перевоспитать ее можно. Но удачи пока нет.

Главная моя ошибка заключается в том, что я не отодрал ее своевременно от старой среды, не изолировал и не приблизил к нам. Она осталась прежнею и в прежней среде. А результат? А результат вот какой. Недели две-три назад в нашей коммунистической ячейке был поставлен вопрос о «гниении отдельных коммунистов». В доказательство, не указывая личностей, выставлялись следующие факты:

1) Сходясь чуть не церковным браком с буржуазными девушками, некоторые коммунисты сближаются вместе с тем и с буржуазным обществом.

2) Трутся по театрам с буржуазией, устраивают специальные вечера наподобие буржуазных «салонных» вечеров, где занимаются и развлекаются легкомысленными буржуазными пустяками.

3) Поселяются в буржуазных домах, выдают буржуям охранные грамоты, аршинные мандаты и т. п., всячески вступаясь за них и защищая их интересы. Раскатывают на автомобилях и рысаках буржуазных девчонок, устраивают им протекцию и т. д.

4) Красноармейцы N-й ячейки, говорится в заключение, возмущаются подобными поступками отдельных коммунистов и предупреждают, что в дальнейшем будут их выбрасывать без права обратного вступления в партию.

Когда я читал это место резолюции, краска стыда, самого жгучего и позорного, залила мое лицо. Я понял, что здесь говорят и про меня, я, как в зеркале, увидел здесь свои грехи последних месяцев. О, конечно! Я мимо ушей не пропущу этих зловещих предостережений, я съежусь, сокращусь и живо наверстаю любовь моих товарищей. Но они не знают у меня еще одного греха, про него даже стыдно писать в дневнике, боюсь, как бы не поняли когда-либо, хотя бы после моей смерти, не поняли бы превратно этой моей странности и слабости.

Я люблю в весеннюю тихую «Христову» ночь сходить в храм. Я марксист одиннадцать лет. Я прошел и ссылку и тюрьму. Ни бога, ни чорта, конечно, не признаю и к религии — язве человечества — подхожу научно, по-марксистски и сознательно. Так что заподозрить в чем-либо меня уж, конечно, нельзя. Но, вот представьте себе, как только зазвонят в пасхальную ночь колокола, я весь переполняюсь каким-то странно-благоговейным настроением. Особенно, помню, в Сибири, в глухом селе, где отбывал я последнюю ссылку. Меня увлекает эта торжественность, красочность, огнистость... Над широкими тающими полями несется колокольный звон, во тьме и там и здесь смутными тенями мелькают человеческие фигуры. Свежесть, красота, непосредственность — вот что здесь хорошо. И я иду сам, иду с крестьянами, вхожу вместе с ними в храм и стою, слушаю там церковное пенье. Оно глупо, бессмысленно и для них оно страшно вредно, но мне самому приятно слушать его бесхитростные переливы. О, как было бы хорошо, думал я тогда, если бы все вот эти молящиеся, так же, как я, относились к торжественной ночи и принимали только ее художественную, бытовую красоту, как принимаем и понимаем мы, например, красоту народных гуляний, хороводов, посиделок... Тогда можно было бы оставить и колокольный звон и торжественные ночи. Но ведь для этого сознательно и твердо нужно послать бога к чорту, а чорта к богу — пускай ищут друг друга, благо им делать-то нечего! В этом-то вот и вся загвоздка! Когда я размышляю над этим вопросом, я вижу и верю, что через несколько поколений религиозная язва излечится окончательно, и излечит ее Союз коммунистической молодежи, руководимый нашей партией. Религия уйдет и пропадет, но красота бытовых картин останется как историческое наследие. Вот эту художественную красоту я принимаю уже теперь, но я никому-

никому про нее не говорю, я боюсь быть непонятым, я робею, я не хочу, чтобы на мое имя легла хотя бы легкая тень какого-либо подозренья. А впрочем, один ли я таков? Ну-ка, пройдемтесь со мной в пасхальную ночь по квартирам коммунистов — не найдем ли мы у каждого из них и сырной пасхи и сдобного кулича? Ха-ха-ха! Ядовито? То и дело-то... Уж лучше меня не троньте!

10 июня.

Сегодня утром взял я в руки центральную газету и был совершенно ошеломлен тем, что увидел там на третьей странице: про меня, про меня, чорт возьми! Там рассказывается про один из боев, который вели мы на небольшой речонке Торе пять-шесть недель тому назад. Пишет один из моих «верных и преданных военспецов», ездивший тогда со мною в дивизию и, в сущности говоря, отлично знающий, что ничего особенного я тогда не сделал. Он расписывает про какой-то налет, про атаку, про мою контузию головы и правого бока... Тьфу ты, какая дичь! Хватит же фантазии у человека! Ну, что же вы прикажете мне теперь делать? Может быть, послать в газету опровержение? Ну да, извольте-ка выкусить кукиш! Не настолько уж я глуп, как вам это кажется. Писал не я, а мало ли кто и что может сбрехнуть. «На каждый роток не накинешь платок» — говорит наша пословица. Рассказ — рассказом, а теперь вы послушайте, как было на деле.

Приехали мы с начдивом и частью товарищей в штаб одной бригады рано утром, часов примерно в пять. Где-то вдалеке уже громыхали орудия, возобновлялся прерванный ночью бой. Начдив сообщил, что бой идет верстах в двадцати пяти, и грохот явственно слышен только по утренней свежести, по росе. Мы передохнули, закусили, оставили всех в штабриге, а сами в сопровождении трех орди-

нарцев отправились дальше. Мы действительно были близко к линии огня, возле нас действительно ухнуло несколько снарядов, и все, что до этого места рассказано в газетной статье, является доподлинной и чистейшей правдой. А вот дальше — дальше начинается смелая чушь и нелепая фантазия. Говорится о какой-то моей особенной удали, смелости, даже героизме! Эк, хватил! Известно, почему он это пишет, — подхалим, спешит подольстить, выслужиться. А мне ведь что же — мне все это на-руку, пускай врет, была бы польза. Помню, когда мы вернулись в штабриг, военспец спросил меня:

— Господи ты боже мой, да на вас лица нет, товарищ Барский, уж не контузило ли?

А я, может быть, и в самом деле был бледен, потому что не спал всю ночь.

— Как будто нет, — говорю, — а впрочем, чорт его знает... возле нас рвалось немало снарядов...

Дальше ему говорить было нечего и незачем — остальное доделала фантазия.

Ну, и шутка! Я даже сам не предполагал, что все это обернется так великолепно... Подхваливай, подхваливай, ребята! Чем больше хвалишь, тем веселей работать!

15 июня.

Сегодня два новых события. Приезжаю утром на работу, прихожу к себе в кабинет и у всех на лицах замечаю какую-то двусмысленную, загадочную улыбку. Что такое, в чем дело — не пойму. А потом, минут через двадцать, вдруг докладывают, что меня желает видеть делегация от военных специалистов. Не понимаю, ничего не понимаю! Ну, разумеется, приглашаю войти. Сижу, ожидаю. Открылись двери, и первою вползла полусогнутая, рабская фигура начальника снабжения. У него в руках был какой-то огром-

ный предмет, но что это было, я еще не знал, так как на предмет было накинуто красное покрывало. Один за другим, величественно и плавно вкатывались ко мне герои глубокого тыла. Начснаб выпрямился, дождался, когда вошли все делегаты, сделал какую-то невероятно глупую мину торжественности на своем оплывшем, обрюзглом лице и начал:

— В этот великий незабываемый день наши сердца преисполнены к вам любовью. Мы — ваши сослуживцы, помощники и ученики, мы собрались сюда в этот славный день. . . и т. д. и т. п.

Я его речи не помню. Да и не в этом дело — она была сплошной глупостью и дребеденью. Закончилось дело тем, что он каким-то совершенно нелепым рыцарским движением правой руки сдернул красное покрывало и обнажил. . . седло.

— От имени глубоко уважающего вас гарнизона мы преподносим вам это седло.

Седло было прекрасное, отделано оно было замечательно. Я взял его из рук начснаба, положил на стул и в ответной благодарственной речи просил их передать гарнизону мое товарищеское спасибо. Впрочем, я уже и тогда догадывался, что гарнизон тут совершенно не при чем и даже, вероятно, не знает ничего про этот подарок, но сказать об этом, разумеется, ничего не сказал (впоследствии мое предположение оправдалось целиком). Ну, ничего, ничего — газета все выдержит.

Комедия кончилась. Седло унесли. Закончилась и работа. Приезжаю домой. Жена вскакивает с дивана, машет каким-то журналом, что-то кричит, что-то торопится объяснить, но я решительно ничего не могу у нее понять и разобрать — так много она кричит и так часто заливается. Фотогра·

фический снимок нашего субботника и подпись: «Наш заслуженный и славный работник, тов. Барский, член РВС армии, на субботнике».

Мне стало стыдно. Я хорошо помню этот, едва ли не единственный из субботников, на котором я вообще удосужился работать. Да и что это за работа! Товарищи действительно пилили бревна, а я приехал на автомобиле, пробыл минут пятнадцать-двадцать, да и то половину просидел на поленнице и проговорил с отдыхавшими. Штабные знали заранее, что я буду на субботнике, и выслали туда фотографа.

Вот какими путями ширится и растет моя слава. Пути, правда, не совсем чисты, но что вы будете делать — иных у меня нет.

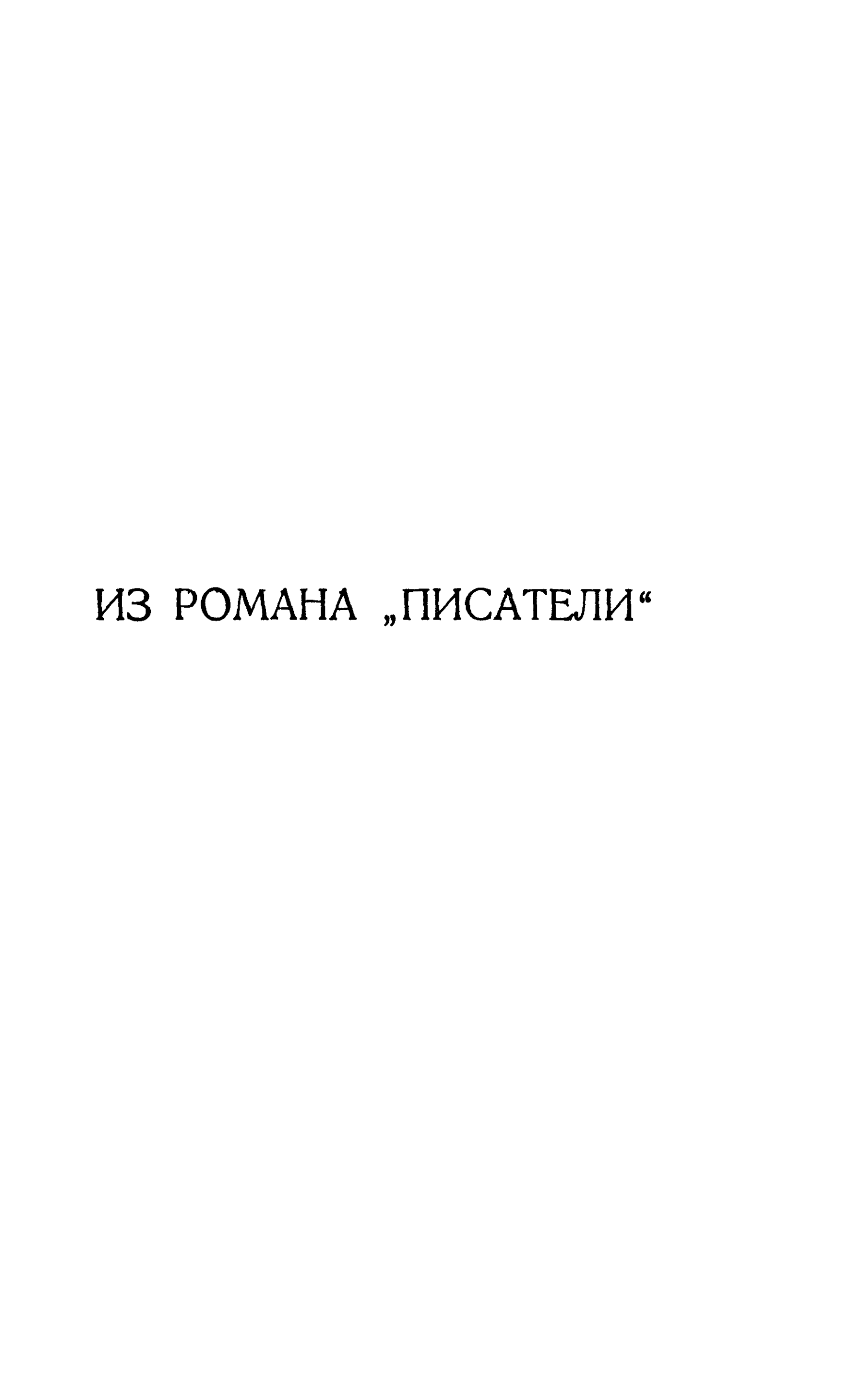
Да и у всех ли чисты эти глубоко таинственные, секретные, никому неведомые пути? Полагаю, что нет. И вся разница только в более или менее умелой маскировке. Один маскирует действительно ловко и достигает успеха, а другой, простофиля, проваливается с громом и треском, прорвавшись и обнажив свое нелепое существо. Да и стоит ли этому удивляться? Мы ведь дети старого, тлетворного века и дышим до сих пор его мерзкой, зараженной атмосферой. В день и в год ее не очистишь. А вот придет новая жизнь — будут и новые люди. У этих новых людей будут новые качества и новые достоинства. Над нашими детскими недостатками они весело и дружно посмеются, как смеемся теперь мы с вами над курьезами далекой старины.

★

На этом дневник обрывается. Веню вскоре убили. Он умер в бою героем, несомненно, как честный и настоящий революционер. Не подумайте только, что в этих кратких выдержках из дневника обрисовалась вся его полноценная

личность. Нет, нет — мы приоткрыли только уголок, крошечный уголок его обширного духовного мира, мы взяли только одну струнку его многострунной арфы-души и заставили ее издать свой звук. Только — и больше ничего.

Станица Крымская
13 февраля 1921 г.



ИЗ РОМАНА „ПИСАТЕЛИ“

ПИСАТЕЛИ

Павел сидел на ящичке у окна. Писал: «Теперь уж никто не сомневается, что продналог — могила нашей нищеты. Мы вышли на новую дорогу. Советская Россия отстояла себя на фронтах гражданской войны, сумеет она отстоять себя и в тылу, на хозяйстве»...

— Нет, не то... — и перечеркнул написанное. Посмотрел за окно. В смутной темени ноябрьского утра печально, тяжело расплывался дым из труб; по крышам, нахохлившись, сидели потные вороны, щипали сердито хвосты; обглоданные стужей, черны и голы торчали в соседнем дворе пустые березы...

«Будем верить фактам. Довольно праздных разговоров. Изо дня в день эти факты говорят нам одно: продналог открывает простор хозяйственным победам. Украина, Сибирь и Кубань уже дали»...

Он подумал минутку, не вспомнил цифру, оставил для нее пустое место.

«Уже дали... миллионов пудов хлеба. Мы создадим запасы, из этих запасов мы будем кормить нашу промышленность. Заводы и фабрики, нефтяные промысла, донецкие шахты — все они ждут только хлеба.

«Будет хлеб — и конец беде: город даст деревне мануфактуру, крестьянин охотней повезет свой хлеб. Заколдо-

ванное кольцо: хлеб не дают без ситца, ситец нельзя сготовить без хлеба. И все-таки начинать надо с хлебных запасов. Ключ к победе здесь»...

Остановился. Перечитал. Тоже все общие места, разговоры... Что-то надо проще, яснее, убедительней. Он поправил сползшее с плеч на горбатую спину серое байковое одеяльце, посмотрел на красные холодные пальцы, выдохнул на стекло горячий пар. Потом положил карандаш, поднялся с ящичка и, тихо ступая, походил по комнате.

— Сходить бы к этому... как его...

И, достав из кошелька записку — прочитал: «Мамонтовский пер., дом 47, кв. 113, Исай Исаич Спицын».

— Спицын, говорят, недорого может доставить полусаженок, он не то сам на Брянском, не то возит дрова Москвотопу...

И зашагал по комнате маленький худенький горбун. Укутанный в одеяло, он казался совсем ребенком и словно шарик перекатывался из угла в угол. На большой круглой голове торчали щетиной жесткие сивые волосы, торчал, как у дятла, острый длинный нос, были строги и печальны сухие зеленые глаза.

— Оксана... Саночка... ты бы встала...

Оксана лежала с закрытыми глазами и ничего не ответила мужу. Она только выше подтянула ворот и с головой укрылась под тяжелую солдатскую шинель. Павел отошел, достал из угла печные трубы и, стараясь не шуметь, вынес их на лестницу. Там он долго скрежетал и визжал, вправлял друг в дружку ржавые колена, загибал и расправлял кончики кирпичом, прихватывал зубом, выглаживал красными тонкими пальцами оттопыренные морщинки жести.

— Потише там! — крикнул снизу кто-то зло и кратко. — На улицу надо итти, кирпичи осыпаются!

Павел ничего не ответил и, съежившись еще больше, продолжал работу. Когда четыре коленца впились одно в другое и выросла из них черная длинная труба, Павел гордо вскинул ее на плечо и вернулся в комнату. Его встретили широкие темные глаза Оксаны.

Высвободив голову из-под колючего ворота, она лежала недвижная и горячим строгим немигающим взором посмотрела на мужа. Густые русые волосы разметались на подушке, нездоровое серое лицо вспухло и будто налилось желатином, сдвинулись плотно тонкие ленты бровей, беззвучно сплюснуты были белые, бескровные губы.

— Оксана, ты бы встала.

— Зачем?

— Как же зачем — на ходу легче... разойдешься и легче...

Она промолчала. А потом резко:

— Опять с трубами?

— Прилаживаю, Санючка, ишь...

И он, торжествуя, хлопнул по трубной глади.

— Да что ладить-то, двух колен все равно нет.

— Достанем...

— Достанем — давно достаем.

★

В широком круглом варяжском шлеме, в долгополой раскидистой шинели, волочившейся за ним, как грязный шлейф, Лужский был и смешон и невыразимо жалок. Был смешон и жалок, когда бежал с сердитым заостренным лицом по мокрым улицам, когда останавливался раздумчиво на перекрестках, гадая — куда итти, когда, замученный ходьбой, останавливался вдруг и, трудно, глубоко вздыхая, присаживался передохнуть на тумбу или приваливался где-нибудь к широкой выемке окна. За ним неизменно следили прохожие, взгляды-

вали на него с каким-то неловким, будто виноватым видом, а он это замечал, всегда замечал, как бы ни был взволнован, охвачен тревогой. И тогда ускорял он свой бег, пытаясь скрыться от чужих взоров. Но убегал от одних, а другие — навстречу. Бежал снова — и снова те же любопытствующие, внимательные, то насмешливые, то сострадательные взгляды. Видимо, останавливала тогда на себе взгляды не одна его неловкая смешная фигурка, останавливало его чутко подвижное, искаженное волнением лицо. Когда он шел спокойный, та же самая толпа его не замечала, проглатывала, тащила и гнала с собою бесстрастно.

Пробежал Лужский Чистыми Прудами по скользким унылым аллеям, вышел на Мясницкую и здесь, у почтамта, сел на приступках. Народу на этом перекрестке всегда много, толпится он так густо, что отдельного человека не видать. Посмотрел на часы — часы стояли. Закоптелые и грязные, они зияли мутным провалом из ободранной стенки словно вытекший глаз в морщинистом лбу старого дома-великана. Редко-редко проползали трамваи, потом сгрудились на перекрестке и остыли. Что-то попортилось в пути, за кем-то куда-то послали, публика трамвайная высыпала на площадь и бранилась, негодовала, проклинала неведомо кого и за что. Когда все устроилось и трамваи тронулись с места, Павел, как в тумане, увидел поползшие со скрежетом облупленные вагончики с выбитыми окнами, повисшую на них толпу. Сзади вагонов мчались вперегонку отряды ребятишек, повисали на тормозах, слева и справа приклеивались на подножках, хватались за окна. Потом соскакивали, мчались обратно и так же, неистово гикая и визжа, неслись за другим трамваем. Казалось, что кто-то могучий поднял целую охапку народу и несет ее по рельсам — так завешен был вагончик человеческими телами. Потом вдруг загалдели, трамвай остановился, и снова толпа трамвайная выскочила, загал-

дела: то ли кого придавили, то ли ребята стащили что-то у пассажиров. Толпа все гудела, все крепче наливалась гневом, запрудила все пути; трамвайчики, извозчики, ручные тележки остановились; площадь пропала в черной волнующейся массе. Словно во сне слышал Павел, как на приступках лестницы спорили ротозеи:

— Выхватил целую спину, полшубы саданул...

— Этто они мастера...

— Они целой шайкой... Пятеро оттирают, а он нарезает...

— Поделом! Поделом подлецу!..

— Напрочь по самую чошну отхватило...

— С-сволочь!..

— И чего только смотрют... Рази так нада?

Павел хотел было подняться, но так плотно сдвинулся народ, что протискаться не было возможности. Он прислонился к колонне и смотрел перед собою на черные спины соседей, на кошолки, корзиночки, мешочки, что были у каждого в руках и за спиной, — все куда-то, значит, шли получать-покупать.

«Одна беда, — подумал Павел, — разве легче кому?»

И от этого сознания, что всем тяжело, что и все эти вот сотни-тысячи так же голодны, как он, что так же нет у них ничего и так же вот они целый день носятся по городу со своими кошолками и мешочками, — от этого сознания стало ему вдруг легче, и он почувствовал, как распрямилось что-то на груди, опустился вздернутый лоб и все тело словно выправило крепко стянутые морщины. Это уходила дрожь, пропадало волненье, сменялось покоем. И ему стало теперь занятно — что они тут говорят, чем так взволнованы, что там случилось на пути. Он расспрашивал соседей, поддакивал, возражал, усмехался остротам, погоревал над парнишкой,

вырезавшим «барыне» каракулевую спину и при полете угодившим под трамвай.

Павел слился с толпой, она ему уже была не чужая, он сам промок насквозь ее интересами, с нею шумел и волновался... И когда улеглось волнение, а толпа поредела, он пошел вниз по Мясницкой, на Лубянскую площадь.

Стояли угрюмы и горестны огромные каменные дома. В выбитых окнах торчали доски и рогожки, висели кой-где меж рамами подтянутые узелки с драгоценной снедью, виднелись по нижним этажам грудки сложенных и мелко нащипанных дров — они были чуть поотодвинуты от окон. Всюду в форточки высовывались трубы, нахлопнутые колпачками, и дым из-под колпачков ударялся оземь, расплывался по улице густой и едучей копотью и гарью.

Вот Лубянка. Вот огромный коричневый дом. Он тоже весь ополз и как-то грузно, бессильно опустился к земле, словно старичок, одетый в истлевший бесцветный пиджачок. Над визгливой тяжелой дверью ржавая полоска жести: «Комендатура». У двери толпа — плотная, взволнованная, но тихая. О чем-то справляются, шепчут друг дружке, кивают на дверь. Стоят спокойные и бесстрастные часовые, осматривают бумажки, иных впускают внутрь. ВЧК! Страшный и сильный таинственный дом, загадочный незнакомец, чья власть и грозная воля дрожат тысячами искр в этих вот испуганных мелькающих глазах толпы.

Павел подошел, хотел зачем-то протискаться к дверям, но его оттеснили, зарычали сердито:

— В очередь, в очередь, гражданин! Куда лезете? Тут люди с утра ждут и то не лезут... Идите в очередь...

Он вынул обрывок газеты, сорвал полоску на-угол, завернул кривулю, набил ее из гуталиновой баночки махрой.

— Разрешите, товарищ... — потянулся он с цыгаркой к папироске соседа.

Тот покрыл его рыбьими налитыми глазами, вынул папироску из зубов и молча отвернулся.

— Разрешите, товарищ...

— Что вы пристали, гражданин? — вдруг окрысился сосед. — Курите, пожалуйста, вам никто не мешает, — и, перевернувшись круто на каблуках, загородил перед Павлом всю толпу.

Рядом в суконной плотной шубе без воротника стоял какой-то бритый, с одутловатыми щеками, в котиковой узкой шапочке.

— Разрешите спичку, гражданин...

Тот снисходительно и бесстрастно сверху вниз глянул на жалкую фигурку Лужского и процедил:

— Тут люди с делами, а вы пристали, как банный лист. И как только не совестно, гражданин...

Павел поглядел ему в строгое злое лицо и молча улыбнулся. «Ну, и шпана! — подумал он, отходя и прикуривая у извозчика. — Вот удивительный народ — ну, до чего же злы»... И внимательно оглядывал Павел эту толпившуюся к дверям кучку народа и видел на лицах у всех какую-то оробелую сосредоточенность, замкнутую наглухо обиду, сердитую, озлобленную затаенную боль.

Стояли тут женщины с тонкими, высохшими лицами, в истрепанных шубейках, в накидочках, иные в мужских широких пальто. Непричесанные, наспех связанные волосы выскакивали из-под лодочек, тарелочек, кувшинчиков протертого и облезлого бархата. Многие обуты были в широченные английские штиблетищи, и они торчали странно и неуклюже на хрупких ножках, обтянутых в шелковые чулки. У многих запросто накручены были грубые зеленые обмотки, и снизу теми же обмотками схватывались под подошву широкие, сползавшие с ног калоши. Костюмы были чрезвычайно странны и разнообразны, но почти у каждого из этих

пассажиров то чулки, то накидочка, то шляпка напоминали о былом. И все они, несмотря на замкнутость, сосредоточенность свою, были объединены какой-то общею, чуть уловимой сходностью, это всё люди «своего» круга и пришли они сюда, видно, все по одним, по общим делам. Кой-где желтели тяжелые крестьянские тулупы, коричневые понёвы, бабьи поддевки, — это наехали, видимо, из деревень. И стояли они в сторонке, о чем-то тоже перешептывались, кидали робкие взгляды в сторону часовых, помаргивали мокрыми печальными глазами. Долетали до слуха обрывки разговора.

— Какая странность... Удивительное, знаете ли, совпадение... Какие там списки — да самый мирный человек...

— Ничего не скрывал, как на духу, да и чего скрывать? Вы только подумайте...

— Ну что ж — офицер? Мало ли у кого брат офицер, а я тут при чем?

И вдруг в толпе мелькнуло знакомое лицо. Павел приподнялся на носки, но стоявший обернулся к нему спиной и продолжал разговор, жестикулируя деланно и настойчиво обеими руками. Павел полегоньку протискался в сторону говорившего, выполз сбоку.

— Волконский... Здравствуйте...

Говоривший легко перевернулся, и на его молодом выбритом лице сначала скользнуло деланное изумление, потом так же деланно и неловко закривилась по губам фальшивая улыбка:

— Лужский... товарищ Лужский! Какими судьбами? Да разве здесь?

И он заторопился вопросами, протянул Павлу тонкую короткую руку.

— Здесь... В политотделе...

— Давно оттуда?

— Три месяца.

— Значит, все маршируете?

И он холодно засмеялся, обнажив прекрасные чистые зубы. Потом вдруг серьезно:

— А я тут глуп-пейшее дело... Ну, то-есть такая глупость — сказать смешно. В отряд спекулянтов приписали... ха-ха-ха!..

Волконский снова широко сверкнул прекрасными сильными зубами.

— Волконский и — спекуляция... Кстати, у вас тут никого нет? — И он загадочным сдержанным движением повел большой палец в сторону часовых. — Скорей бы, что ли, никак не доберусь... Выяснить — и баста...

Павел молча глядел в его барское прожелтевшее лицо и чувствовал, как от этой манерности у него что-то растет, сгущается в груди.

— Здесь-то? Нет. Никого нет, — ответил он равнодушно. — Вы здесь, в Москве?

Волконский сделал лицо серьезным и чуть прихмурился от небрежного ответа Лужского:

— А я уж тут по иной пошел. Все бросил — это уж вы пописывайте. Мы больше не пишем: в Губ-прод-комисс...

— Вон как.. — промычал Павел. — Да нет, я тоже — какое писанье... Писать, знать, еще рано.

— Ну-ну, не скромничайте. Вы все такой же... Да, а где Пальцов, Салазкин, Кунц? Вы о них ничего не слыхали?

Павел через две минуты простился с Волконским, он знал его еще по Симбирску. Волконский что-то клеил там в культпросвете, пописывал в журнале.

Павел отошел от мрачной, неприветливой толпы ожидавших и пошел напрорез, мимо фонтана, к спуску. Фонтан стоял пустой и холодный, сухо желтели ржавые краники.

Бесстыдные и грустные, серели обнаженными обгрызенными плечами статуи, словно пригнувшиеся под тяжестью чугунной тяжелой вазы. Мраморный круг сполз и облез, жидкая решотка была местами выдрана из земли и ржавыми тонкими ниточками извивалась у грузного мраморного круга.

А за фонтаном, вдалеке рыжела рыхлая крутолобая стена Китай-города, в черную пасть Владимирских ворот вползала и выползала вон торопливая людская толпа. И тут все с мешочками на спинах, с кошолками в руках, сердитые и строгие.

Угловая башня скучно выпятила огромное кирпичное пузо и темнела глубокими выбоинами, откуда высыпался раскрошенный годами кирпич. На стене, неведомо кем, поставлены были два худых бочонка; их, видимо, никто не замечал, не стащил в «буржуйку».

Лужский глянул на бочонки и мысленно прикинул, на сколько бы их хватило. И тут вспомнил, что дома нет газолину, что на вечер нечего есть, что ежели припустить ходу — можно еще застать на «Смольбазе». Он, толкаясь, налетая и сшибая встречных, смешно подобрав одной рукой невероятно длинную шинель, мчался на рынок. Добежал до университета, подумал — и ударил вверх по Никитской. Тут в ряд стояли два полуразрушенных дома. Они когда-то, видимо, были огорожены, но изгородь растащили, и обломки кирпичей ссыпались на тротуар. Павел заметил и запомнил: «Будем класть печурку, надо сюда смахать за кирпичами»...

Выбежал к Никитским воротам, оглянулся на гигантский угольный дом. Он стоял все такой же пустой и страшный, как в октябрьские дни, когда решетили его пули, когда снаряды сносили ему голову. Когда б ни проходил мимо, каждый раз с какою-то особой гордостью смотрел он на эту живую наглядную памятку великих дней.

Когда Лужский прибежал на Смоленский, тут только вспомнил, что не взял с собой посудину. Он толкнулся к одной, другой торговке. Бесстрастные багровые бабы потирали руки с холодку, подзадаривали:

— Нам хоть десять фунтов бери, одно дело — посуду свою доноси...

«Купцы!» — сверкнула смелая мысль. Он вытащил завернутые бумажки и быстро пересчитал, хоть и знал без того, сколько тут свернуто.

— Пончики, пончики, вот они, пончики! — кричали кругом востроносые мальчишки.

Лужский посмотрел на них укоризненно и мимо полок с разной чепухой поплелся тихо и раздумчиво к каменному дому, что стоит посреди, — он знал, что там всегда «холодные сапожники».

— Товарищи, сколько за это?

И он, отбросив шинель, взлягнул смешно ногой, подставив сапожнику протертую подошву и развалившуюся дважды кожаную обсоюзку.

— И каблучки?

— Нет, каблуков не надо.

«Холодный» назвал желанную цифру. Лужский сократил ее вчетверо. Сапожник сердито сказал:

— Иди-ка, брат, по своей дороге — ты, вижу, балясы точишь. Иди-ка, иди!..

Лужский пристыженно отошел от сапожника, столковаться явно было немыслимо. Вместо «без каблучков» он добыл четыре таблетки сахарину и собирался уж вовсе уходить, как увидал Греча.

— Греч! — окликнул он его сквозь толпу.

Тот, видимо, не слыхал и быстро уходил с большим узлом под мышкой.

«Чего это он?» — подумал Лужский и торопливо побежал наперерез, бранясь и толкаясь с лоточниками, торговцами мылом, сахарином, жутким хлебом... Он увидел, как Греч вынырнул, выставив узел вперед, в небольшую старую лавчонку. Стекла узенькой двери были выбиты, вместо них рыжела плотная грязная рогожа. Лужский тихо отворил дверь, всунул голову:

— Греч, иди-ка...

Тот сразу смутился, быстро отпихнул от себя узел, показал какой-то странный кукиш хозяину. Тот примолк.

— Ты... ты што тут, Лужский?

— Поди-ка, выдь на слово.

Тот вышел за дверь, быстро повернул пенснэ на тонком хрящеватом носу, мигая быстро-быстро зелеными плутоватыми глазенками. Он, несомненно, чем-то был смущен.

«Верно — из-за узла, — подумал Лужский. — Продавать что-нибудь стащил».

— Греч, ты не можешь бутылку достать? — чуть улыбнувшись, спросил Павел.

— То-есть как бутылку?

— Пустую бутылку.

Павел объяснил, в чем дело. Греч скрылся снова в дверях и через минуту вытащил огромную зеленую бутылку из-под боржома.

— Под честное слово, понимаешь, — приговаривал он, отдавая бутылку. — Завтра же утром занеси, старику отдашь, — и он кивнул на рогожу.

Потом помолчал и добавил:

— А еще лучше, кабы сегодня же вечером.

Павел снова снижает цены торговкам, постукивает, сам не зная к чему, по пухлым жестяным бидончикам, уверяет, что «на Сухаревой вон вдвое дешевле — чорт знает как дерете бессовестно»...

Смешливая широкозадая баба, принимая от него бутыль, деловито урезонивала:

— Не мели-ка, милой, напраслину. Что есть Сухарева? На Сухареве мы ж и торгуем сами. Какие там дешевле, на все одна цена по Москве...

И вдруг глаза ее испуганно запрыгали.

— Да штой-то народ-то бежит?

И баба, ловко выхватив воронку, опасливо замотала головой на все стороны.

— Господи, да неужто облава опять? Надыть, гонют сюда.

И быстро составив посудину в кучу, она целилась впихивать ее в суровые мешки; в этих мешках таскает она бидоны за спиной от Красных ворот на Смольбаз.

Толпа действительно заволновалась, некоторые бежали озабоченно сюда, на горку, но по лицам ни тревоги, ни испуга — наоборот, какое-то острое любопытство, вот как бывает в пожар.

— Убили! .. человека убили! ..

— Где?

— В переулке... на горе...

— Да господи ты мой, что ж это будем делать? Барошки...

И торговка облегченно расставила снова свою посудину, втюкнула воронку в боржаленку, нацедила. Павел сунул ей в кургузую мужскую ладонь отсчитанные бумажки, впихнул бутылку в карман и сам побежал вверх по горе. У стены против бульвара спешно семенил тонкими ножками Греч. Лужский его окликнул. Запыхавшись, путаясь в шинели, Лужский перебежал дорогу.

— Убили, Греч, кого-то.

— Нет, сам. Пахомов какой-то.

— Са-а-а-м? Это почему? Не знаешь?

— От голоду, говорят... Семья велика...

К переулку народ сбежался со всех концов. Толпа напирала, оттесняла нижестоящих под гору.

— За бабу, говорят — сменила... — увесисто и авторитетно сказал крупный рябой парень.

— Какая баба — казну в карты пустил. Сам скончал, никто не трогал...

— Подайтесь, граждане, подайтесь, куда лезете вперед, ишь, ходу нет!

И передние спинами нажали взад, оттеснили стоявших еще ниже. Но рябому парню охота была пролезть вперед.

— Айда вместях! — подмигнул он Гречу, от толчков хватавшему то и дело парня за локоть.

— Айда! — храбро кивнул ему Греч чуточной птичьей головкой. Павел тоже хмыкнул что-то одобрительное. Тогда парнюга взял чуть влево и крикнул властно:

— А ну, разойдись! Подайся, слышь, мы с етой квартеры будем, родня идет...

И парень уверенно наддал локтями. Покорная окрику толпа и в самом деле раздалась, с любопытством и даже с каким-то особенным удовольствием очистила тощую полоску дороги и зарокотала довольно вслед троим проходившим:

— Родня... Свои идут... Братья, поди...

Так командуя и окрикая, парень подвел Греча и Лужского до самого крыльца, на лестницу подниматься не стал, притих с завереньями о своем близком родстве покойному. Он вообще куда-то скрылся, вместо него теперь передом работал Греч. На лесенке у крыльца толпа сомкнулась крепко, и, казалось, не было никакой возможности протискаться сквозь. Но Греч понял, в чем секрет.

— Позвольте, дайте пройти!

Но его пискливый, тонкий голосок не производил того эффекта, что грудливый бас рябого парня.

— Не лезь, кочерыжка, куда прешь!

И Греча легко столкнули от крыльца. Дежуривший у крыльца милиционер спокойно дал совет:

— Гражданин, держитесь ниже.

— Медицинская помощь... Фельдшер... — пропищал Греч, сторожко оглядываясь, не слышат ли дальние.

— Та другой дело. Пусти, эй!.. Так ба и сказал...

Греча с Лужским подтолкнули к самому крыльцу.

— Дохтора пришли...

Дверь открыли — там народ. Они быстро вбежали по лесенке и распахнули дверь в комнату.

Пахомов лежал на столе, в углу у окна; тело прикрыто было солдатской шинелью.

Павел вздрогнул. «Словно Оксана... под шинелью-то», — выскользнула мысль. И он почувствовал, как острыми иглами закололо охладевшую спину.

Самоубийца — мужчина годов сорока, с небритым рыжебородым лицом — в самом деле закатил себе пулю в рот из нагана. От горестной голодной жизни. Пуля выскочила в голову. Смерть проглотила вмиг. В большой пустой, голой комнате народу втискалось человек пятьдесят. Стояли все с обнаженными головами, и дальние тянулись на-цыпочках через голову тех, что стояли впереди. Стоявшие близко к столу сосредоточенно молчали, словно ждали чего; стоявшие ближе к двери тихо перешоптывались. Говорили, что кто-то побежал на рынок за Пахомихой, женой покойного, но точно не знали, кто побежал, да и побежал ли вообще. Ждали еще врача, ждали милицию. Разговор шуршал на этих вопросах.

В другом углу, от стола, сидели скорчившись двое малюток годов по шести и жалобно всхлипывали. Их гладили по гладеньким жидковолосым головенкам какие-то женщины, уговаривали от слез.

— Его, што ль, детки-то?

— Его.

— И детей не пожалел, сердешный...

Говоривший посмотрел скучным, пустым взглядом на ребятишек, потом на покойника, опять на ребятишек. Помолчал и добавил:

— Вот она, жистя-то, — знать, сильнее всего.

Ему никто ничего не ответил.

Огромная комната густо была замызгана копотью и грязью. Вещей почти вовсе не было. Стол, сундучок да табуретка — все добро. Какой-то бугорок из хламья чернел в углу за столом. Болталась еще на гвоздике серая тряпица — верно, полотенце. Со стола на окно переставили пустую деревянную миску, что-то из мелочи. Комната словно нежилая — так она была пуста, грязна и как-то без надобности просторна.

Павел осматривал ее с грустным любопытством, он молча переводил глаза из одного склизнеющего угла в другой и чувствовал, как все существо наполняется густо тоской. «Что я? Хуже, вот, жил человек»... И снова скользнуло перед глазами широкое желтое лицо Оксаны.

Греч ввязался в общие разговоры, о чем-то даже спорил, нервно жестикулировал, тонко и въедчиво выспрашивал про пахомовскую жизнь.

Вдруг вспугнутым зайцем вскочил в комнату острый женский визг. Он дрожал высокой женской нотой, на миг срывался и вдруг наново взвивался — оскаленный и страшный.

— Пахомиху ведут, — кто-то прошептал с испугом. И все немножко перепугались: обледнели лица, по телу колючей тонкой щеточкой проползла тревога. Повернули головы к двери и ждали, когда войдет Пахомиха. Слышно, как по лестнице густо затопали ножищами, — вели Пахомиху двое, сцепив подмышки.

Визг остановился, и, пока топотали по лестнице, было слышно только глухое изнеможенное курлыканье, словно булькала вода в большом раскаленном котле. Дверь спихнули рывком, сзади кто-то невидный вставил, как в раму, Пахомиху. Она оскалила страшно пустой, беззубый рот — там чернели две гнилушки; черные безумные глаза вылупились из орбит и остановились, смотрели и не видели перед собой. Рядом стоял худой и низкорослый мальчик годов семнадцати; он не плакал, не кричал, только передергивал сухими острыми скулами, да губы дрожали трепетно и часто словно тонкие нити в ткацком станке.

— Сын, Петька...

Толпа раздалась по стенам и очистила путь к столу. Пахомиха одно мгновенье остыла в дверях, потом кинулась вперед и дико закричала. Толпа вздрогнула, шарахнулась по стенам. Пахомиха добежала к столу, ударилась руками о шинель, укрывшую труп мужа, и сразмаху ткнулась ему головой в живот. Труп колыхнулся и будто охнул. Толпа передернулась... Пахомиха бессильно сползла с шинели на пол, грохнулась в обмороке. Никто не двинулся с места. Она лежала недвижная и, казалось, бездыханная. Так прошла минута.

— Мама... Мамочка! — склонился к ней Петька.

Пахомиха молчала. Два малыша все сидели в углу, закутанные в хламье, и недоуменно взглядывали, как зверки, маленькими острыми глазенками. Как мать вошла — они за толпой не видали, как она вскрикнула страшным криком — они ее не узнали и только, перепуганные, сжались плотнее друг к дружке. Теперь же, услышав Петькин голос над матерью, словно по уговору скинули мигом одеялишко и босые, в нанковых рубашонках, побежали к столу, цепляясь за ноги стоявших, царапаясь и плача.

— Мама! Мама! — запищали они, взмахивая ручками, подбежали к Петьке, уцепились за него и, дрожа от холода, зеленые и жалкие, переступали по холодному полу босыми ножонками.

— Детей... возьмите детей, — сказал кто-то от стены.

— Увести ребят, разве так можно!..

Две женщины подступили и хотели увести ребятишек снова в угол к одеялу, но те пронзительно закричали и, уцепившись за материн подол, отбрыкивались нервно ножонками.

— Доктора надо, помрет Пахомиха.

— Чего, дьяволы, не едут? Нет их где надо...

— Ишь ты, помочи нет никакой...

Толпа наливалась негодованием. Но за доктором никто не торопился.

— Греч, ты бы сбегал, — шепнул ему Павел, — а я тут что-нибудь с матерью...

Греч протискался к двери, а Лужский подошел к недвижно лежащей женщине и пощупал чуть дрожавшее сердце.

— Товарищи, воды бы, што ли...

И когда принесли воду, он смочил свой носовой платок, распахнул грудь Пахомихи и бережно приложил его всей раскрытой ладонью.

У дальней стены, что ближе к двери, послышался какой-то торопливый шопот. Все обернулись туда.

— Это што, подлецы, делаете? — сказал кто-то внятно и полным голосом. И все заговорили громче.

— Кто его пустил? Чей такой?

— У нищего суму... Суккин сын!

Павел приподнялся и увидел, как прижали к стене того рябого парня, что их проводил сюда. У парня в руках маленький узелок, весь осыпанный мукой.

— Что это?

— Из-под стола украл... муку украл, — зашелестело по всем углам, и толпа сдвинулась в сторону рябого парня.

— Убить такую гаду...

— А чего жалеть, знамо дело...

Парень стоял безмолвный и бледный, он было толкнулся к двери, но толпа перегородила дорогу.

— Убежать? Нет, мы те не дадим! Мы те покажем, хамово отродье!..

В комнате гвалт. Все кричали гневно и громко. Про покойника, про детишек, про Пахомовну словно и забыли.

— Выбросить из окна!

— Голову оторвать стервецу!

Парень, огромный и неуклюжий, распластался по стене и зорко выглядывал, где ловчее укрыться. Потом он вдруг кинулся к двери и сразу сшиб троих, что стояли около, но в этот миг кто-то вспрыгнул на него сзади, как собачонка на медведя, и впился руками в щеки. Парень выпучил глаза и на миг застыл. В это время спереди здоровенный удар ахнул ему по левому глазу.

— Товарищи, товарищи, что вы делаете! — вскрикнул Павел, но его отбросили назад и, плотно сомкнувшись, отмяли к столу.

Налитая гневом, разъяренная, впилась толпа в очумленного парня, кто-то схватил его за руки, кто-то, сшвырнув фуражку, уцепился крепко за лохматые волосы, вскинутые кулачищи с плеском и гулом били по лицу, по голове... Парню не давали спуститься на пол, его подпирали под бока и били стоя. Синее и бледное лицо было все измазано в крови, взлохмаченная голова бессильно опустилась набок. Толпа зверела. Кровь приводила в еще большую ярость... Каждый рвался вперед, чтоб скорей ударить. И вдруг широкий бородатый мужик кокнул парня с полного маху толстой палкой по голове. Все смолкли вмиг. В комнате встала

тишина. Парня выпустили из рук, и он, как мешок, отвалился на пол. Широкий мужик медленно проплыл через притихшую толпу и ушел через дверь. Парень лежал на скользком кровавом полу, и обе руки были вытянуты вперед, словно он кого-то о чем-то просил...

— Убили, — проползло по толпе мертвое слово.

— Неужто вовсе?

— Совсем побили... Зверь-народ...

— Господи, господи, дело-то какое! — зашептали с разных концов... — Дело-то какое... человека убили...

Мужики сначала стояли молча, потом помалу заговорили и они.

— Зря это все, к чему убивать было? Вор и вор — мало ли воров? В участок надо...

— Правильно, известно — в участок... Теперь разбирай вот... Ушел убивец-то...

И всем стало легче, когда сказали про убийцу. Выходило так, что никто и не виноват, словно и не все били, а только вот тот широкоплечий мужик, что с дубинкой.

— Надо бы держать его...

— Да, держи теперь... Найдешь...

Один за другим уходили из комнаты, и когда оставшиеся увидели, что толпа поредела, словно уговорившись, всею толпой тронулись к двери. Комната осталась вдруг пустая. Только у стола все так же недвижимая лежала Пахомовна, около нее жались дрожавшие детишки с широкими испуганными глазами, стоял и трусящийся Петя да, привалившись к столу, замер недвижимый маленький бледный Павел.

В двери входила милиция. Сзади снова чернела любопытная толпа.

Комиссар милиции составлял протокол. Павел что-то бессознательно рассказывал ему насчет убийства. Парня оттащили с середины комнаты и положили на стол вместе с Пахо-

мовым. Пахомиху выволокли за дверь и куда-то отвезли. Павел уговорил Петюшку итти с собой. Ребят закутали и тоже взяли. Они вчетвером по лесенке через толпу выбрались на волю. Сели на извозчика. Павел увозил ребят с собой.

Январь 1926 г.

СЛЕПОЙ ПОЭТ

В редакции сидел поэт Вася Хорь и редактор Половодьин, ткнувшись носами — один остреньким и тонким, Васька, и хрящеватым, широченным, Половодьин — ткнувшись в дела свои. Читали. В комнате больше ни души. Тишина. Вдруг по гулкому коридору какое-то цокающее топанье, будто ступает кованый слон и все четыре подковы не крепко сидят, отстали, цокают по паркету.

Васька Хорь насторожился, потянул носиком вокруг словно котеночек на жареное мясо. Железное, тяжкое топотанье приближалось, росло и крепло. И вот оно за дверью, близко, подступило, чудливо наступает в комнату. Тут вдруг стало можно различить из-за тяжкого основного грохота тонюсенькое жалкое поскрипыванье, будто огромному контрабасищу аккомпанировала тоненькая-тонюсенькая нотка скрипичной струны. И тонкий явственный взвизг и ухающий топот на секунду замерли под дверью, а потом дверь размахнулась, и в комнату вступили два человека.

Странный был вид у этих пришельцев. На старшем — ему было лет двадцать пять, двадцать восемь — вместо пиджака или пальтишка висела широко и раздувчато какая-то огромная хламида на манер широченной женской кофты, снятой с плеча голиафа-женщины. Накидка была во многих местах связана веревочками, широкие складки кой-где сколоты были

булавками или попросту скрючены порыжевшей — видно, старой-старой проволокой. Штаны парусиновые. Присущий парусине цвет они утеряли, они были серы от сала, проевшегося сквозь их липучую грязь. От штанов воняло тою горькой, едкой вонью, которою разит от немоющихся месяцами ребят — кисло, солоно, тошнотно, мерзко. Дальше — ноги. На ногах как раз и были те самые два предмета, что гремели слоновым громом; не сапоги, не щиблеты, не сандалии, не калоши — обувь была сделана, видимо, по специальному заказу и по форме напоминала огромные, широченные, но короткие валенки, сработанные из толстой неломающейся кожи. Обувь была ужасающе тяжелая, это видно было по первому взгляду, и сразу вставал вопрос — зачем она нужна, такая тяга?

Потом все объяснилось. Пришелец был вовсе слеп, хоть глаза его и были открыты и смотрели на вас открытым мутным широким взглядом. Слепец себе специально сработал тяжелые ведра на ноги, чтоб ходить медленно, ощупкой, не зарываться вперед, не упасть, не попасть подо что; тяжкая обувь сдерживала сама по себе, быстро итти не хватало сил. Слепец, войдя, посмотрел перед собою мимо Васьки, мимо обоих в стену, но сделал вид, что кого-то увидал, заметил. Он сказал:

— Вы тут стихи принимаете?

— Мы, — ответил Васька и увидел, что пришлец был слеп.

Подмышкой у слепого был огромный сверток, тяжелый, чуть поддерживаемый, натуго связанный веревками.

— Вы сядьте, — предложил Васька и пододвинул стул слепцу.

Тот рукой уверенно дернул вперед, сверху, надеясь, видимо, попасть на ручку, но на ручку не попал, рука пролетела мимо, и он медленно, смущенно повел по горизонтали, нащупал, стал хлопотливо усаживаться.

— А это где положить? — и показал на сверток.

— Чего это? — спросил Хорь.

— Стихи! — ответил слепец гордо.

Вася посмотрел. В свертке было десять толстейших канцелярских книг старинного образца, прошнурованных, просеревших от давности; коленкор на них кой-где отстал, обнаружилось грязное, темное нутро картона. Вася развязывал и откладывал одну книжку за другой. И только теперь сказал слепец:

— Позвольте познакомиться. Поэт из Тотьмы, Яков Збруин!

И протянул в пустоту огромную лопатистую мохнатую от грязи руку. Вася не достал, а Половодьин встретил руку слепца и потряс ее, улыбаясь. Вася сказал свою фамилию.

— Еще позвольте, — сказал слепец. — Представляю друга моего и секретаря — Кольку Вороного!

И он показал позади себя.

Про мальчишку-поводыря, собственно, забыли все; он как вступил в комнату, так и застыл в простенке. За все время он не сказал еще ни слова. Теперь, когда назвали его имя, — а этот момент знакомства, видимо, он переживал не впервые, — малец выступил смело и сказал громко:

— Колька Вороной!

Поздоровались. Малец отступил попрежнему на свое место и умолк. Только теперь он уж и взглядывал посмелее и даже покашливал, двигался легонько.

У Кольки на голове была широкая соломенная шляпа; у Якова Збруина не было ничего, только лохматая, нечесаная сивая грива. У Кольки на плечах висела кожаная комиссарка — и тоже широченная, несуразная, висевшая на нем, как на гвозде. Брючишек из-под комиссарки нельзя было видеть, а было что-то, просверкивало временами, моталось подле тоненьких и скрипучих женских ботинок. Можно было

на первый раз подумать, глядя ему на ноги, что и не Колька это — девушка. Ботиночки скрипели струной, вторили тяжкому храпу Збруина.

У Кольки над вздернутой пуговкой носа — широко, как на посеревшем лугу, прыгали два зеленых зайчика — глаза. Лобик был короткий и закрыт был широкой шляпой, только из-под полей глазенки и зеленели. У Збруина носище, наоборот, был долог и толст; он, словно морковь, широким концом придавливал верхнюю мясистую губу. Зубов у Збруина был полон рот — здоровые, лошадиные зубищи. Они то и дело желтели сплошными рядами, когда Збруин открывал огромнейшую влажную пасть, не скрытую ни усами, ни бородой. Збруин сидел в стуле плотно и прямо. Колька стоял-стоял у двери, поерзал, потом подступил к Збруину и встал позади, ухватившись за спинку стула. Колька был секретарь и паж поэта Збруина, зеленые Колькины глаза все время следили за Збруиным, то недовольно туманились, то загорались торжествующе, радостно, словно говорили: «Вы нас еще плохо знаете. Вот развернемся во-всю — тогда»... И носик Колькин, словно рыбный крючочек, свертывался в задорную дужку.

Когда минутку посидели и Хорь потрогал книги казенного образца, Збруин сказал глухо и страшно, словно кому грозился, стращая:

— Я тут из Тотьмы. По делам пробуду два дня. Успеете?

Вася робко скользнул взглядом по груде книжищ и ответил:

— Все-таки много тут, товарищ Збруин, в два дня не прочесть. Мы внимательно почитаем, не ждите, уезжайте... Мы вам на родину дошлем, только адрес...

Колька вспорхнул из-за стула, живо достал из-за пазухи какой-то парусиновый мусленый сверток, поспешно залистал бумагами, выхватил какую-то ровную картонку, подал

Ваське. Это была личная визитная карточка Збруина. На ней значилось: «Поэт мировой революции Яков Збруин. Жительство имею в Тотьмах, улица Красного Солнца, дом коммуны ответственных работников».

— По этому адресу можно все!

И Колька ловко подвернулся к столу, отдал Хорю визитку. Половодьин грузно поднялся из кресла, подошел к Ваське, взял карточку, поглядел в нее внимательно и долго, потом тяжело вздохнул и спросил:

— Это кто вам пишет карточки-то — ты, што ли, паренек?

— Я, — резво метнул Колька.

— И эти книги?

— Все я... Пять лет пишу...

Половодьин раскрыл верхнюю инвентарную крышку и увидел там бесконечно мелкую, крупчатую россыпь. Писано было не то чернилами, не то заболтанной сажицей, тон письма был вял и бледен, зато самые буковки стояли круглые, отчетливые, будто отгороженные друг от дружки, обведенные невидимым частоколом, и потому читать было легко и несколько необычно. Половодьина, большого любителя графических дел, сразу заинтересовало Колькино мастерство. Визитная карточка так была чисто и превосходно сделана, будто работал ее не этот вот случайный парнишка, а большой, опытный мастер. Половодьин отвел Кольку к столу, дал на пробу написать что-то потруднее — тот сработал; он ему еще труднее — Колька и с этим справился. Тогда Половодьин еще раз себе в книжечку списал Колькин адрес. (Надо к слову сказать, что половодьинскими усилиями Кольку потом выудили в училище графики в Москву, и недавно я видел его уже кудреватым рослым веселым студентом. Из Кольки готовится отличный, большой работник. Но это лишь к слову.)

Когда Колька передал Хорю визитку, а Збруин узнал, что в два дня стихи ему не прочтут, сказал поэт:

— По моим расчетам, все мои поэмы надо выпустить отдельными книжками — сколько поэм, столько книг. Потом — рисунки надо. Это Колька сам сделает, он умеет... Потом деньги надо мне выслать поскорее — нужда потому (адрес вам дан). Затем, когда поэмы все отпечатают, по одной книжке надо их послать мне в Тотьму. Это и все мои условия, а бумаг писать не станем, просто на-слово!

Васька беспомощно смотрел в его стальные круглые лужицы глаз и пролепетал, сбиваясь:

— Гонорар... плата за стихи... это мы потом, когда договор составим, то есть когда печатать будем, то есть когда перечитаем все стихи... Это потом...

— Но не задерживать! — строго и сухо сказал Збруин. — У меня уж и так много задерживали.

— Кто? — и Васька заострил слух.

— Все. Газета наша, ей давал сколько раз... В магазин книжный ходил — и там не берут: «Не занимаемся», — говорят... В редакции всякие, в губернию посылал — никто не берет... Может — и вы?

— Да не знаю, не знаю, — егозил Васька. — Читать будем... А вы что в Москву — давно, по делу?

— Наркомздрав вызвал, лечиться отправляет, сердце у меня зашибать стало.

— А живете в Тотьме?

— Живу в Тотьме. Уком мне опеку дает — и стихи обещали тоже напечатать, может... Колька — Уком!

Кольке команда, видно, не нова. Он сунулся снова в парусиновый сверток, вытащил новую бумажку. В бумажке стояло:

«Уком предлагает относиться к слепому красноармейцу, Якову Збруину, как народному поэту, который жизнь свою

отдал за революцию и ослеп, а теперь отдает за революцию свои стихи и поэмы. Настоящее удостоверяется подписью, а равно печатью».

Следуют четыре подписи и печать.

— Вы партийный? — спросил Хорь.

— Нет, я слепой... Просился, да говорят — слепому там делать нечего, а во вниманье меня взяли. И эта вот бумага, дом коммуны тоже — помогают. Да и Колька в секретари мне Укомом назначен...

Васька чувствовал, что темы разговоров пропадают. Тот все про стихи да про стихи, а про стихи говорить с поэтом опасно — не открутишься. Васька сначала вышел на минутку, потом не пришел минуты три, а за дверью сговорился со сторожем, что тот его то и дело будет вызывать как бы по делу. Так только надеялся он выжить многоречивого поэта. Збруин рассказывал, как он писал о победах армии нашей над Юденичем — Ваську вызвали. Збруин рассказывал о тракторе, о посевах, урожаях, о новом советском, что вошло в крестьянство — Ваську снова вызвали. Збруин замолкал, ждал, пока тот воротится, и невозмутимо продолжал с того слова, на котором остановился. Потом он кликнул Кольку, заставил его найти «Двенадцатую поэму революции». Верный секретарь достал, раскрыл, как евангелие, тяжелую книгу и стал по-шаманьи выкликать с наигранным пафосом, очень искусно.

У великой революции много дела,
За каждое дело берись смело,
Каждое дело выполняй,
А то будешь лентяй...

И дальше следовали строки ничуть не связанные одна с другой. Но вот что кидалось в глаза. Какую бы тему слепец ни брал, он все сводил к одному — тоска по женщине. То ли похитили у него любимую, то ли ждет он ее, не

дождется, во сне ли с ней встречается, видит ли ее проходящей у себя под окном, но везде-везде она, его желанная; не с ним — он только ее жаждет, добивается, мечтает по ней, а она уходит, скрывается, как призрак, и остается у него одна мечта о прекрасной.

Слепой, здоровенный парнюга, видимо, исстрадался в тоске по женской ласке и заботе. Ослепнув еще в двадцатом году, он эти последние годы живет только с секретарем своим — Колькой, пишет бескрайние свои поэмы, тоскует-тоскует по любимой, срывается то и дело на эту мучительную и сладостную тему... Збруин был три года красноармейцем, у него богатая событиями, тревожная жизнь за плечами. В Тотьму попал он случайно — с партией тотемцев, его наладили туда по ошибке, а когда дело разузналось, он не захотел тревожиться, остался в Тотьме. И потому это вышло так, что получил, еще под Питером, Збруин письмо из деревни: мать умерла, а казаки отца зарубили где-то под Пугачевым, когда они в конце девятнадцатого года снова шли снизу на Уральск, на север. И Збруин, потеряв последнюю связь с родными краями, остался жить в Тотьме, тем более, что тут жили по семьям и калеки-товарищи, с которыми его послали.

Выпроводили Збруина с трудом, только разными хитростями и обещаниями. Он уходил, так же грузно и тяжко цокая кожаными ведрами, и так же подзванивали им, подвизгивали тонкоголосые скрипучие ботинки, что были обуты на Кольке.

Поэмы читали. Поэмы, конечно, никуда не годные. Збруин попросту графоман и пишет чуть ли не по целой поэме за один присест, благо услужливый охотливый Колька всегда под рукой и самозабвенно готов переписывать что угодно, только б писать.

Поэмы почитали, написали осторожный, безобидный отказ: дескать, стихи не печатаем, воздерживаемся пока, год подо-

ждем, потому что не разошлись те, что отпечатали раньше. Вот разойдутся, тогда иной вопрос... И послали ответ вместе с кипой Збруину в Тотьму.

Когда мы встретились с Колькой в Москве, он говорил, что, получив ответ и получив обратно свои поэмы, Збруин плакал над ними долго и беззвучно, слезы легко, обильно текли по лицу, он их не отирал, слезы падали на стол. Потом Збруин взял толстущие книги, перенес их к сундуку, отпер его и выложил все, что было, на пол. И когда все вынул, плотно выложил книгами дно и, тесно-тесно уминая скарб свой, заложил наглухо свои поэмы. Скоро его отправили в психиатрическую лечебницу — Наркомздрав его на этот случай и в Москву вызывал.

В лечебнице Збруин живет и до сих пор — печальный и задумчивый, про свои поэмы он никому не говорит.

27/X 1925 г.

ОТКРЫТИЕ ДОМА

Еще за несколько недель было известно, что в воскресенье, двадцать седьмого, откроют литературный дом. Молодая писательская публика вошла в соответственно бурное состоянье, кропала стишки, подчинивала остроумие, накидывала план приветственных речей. Старики-ветераны седогривые мерно и важно отрывали в архивах разные диковины, невиданные и неслыханные редкосточки, готовились поразить открытьями, нежданными сообщеньями, — готовили капитальный, подкованный, солидно обставленный фурор.

Ждать-пождать — дождались желанного. Коридоры и комнаты литературного дома полным полны были именитой публикой. Был тут технический персонал «Прожектора» — приемщики фотографий, переводчики и передельщики с тульского на ярославский, составители очерков о Марокко, о Пенсильвании и о Мадагаскаре — очерков, написанных с одинаковым пафосом и мастерством. Чего тут, не все ли одно что писать, не все ли одно автору, что кропать в доме 17 по Малой Бронной? Тут он одинаково талантисто живописует и Турцию, и Аппенины, Памир и Манчестер, одним словом — целый мир.

Пришел Валеско. Он написал несколько лет назад злободневную пьесу, так ее живо сострочил, что вот нынче случилась какая-то общественная катастрофа, а завтра по-

утру — готова пьеса. Ясное дело, что за материал схватились, автора не знали, а тема подкупила, и какой-то неловкий, неопытный издатель втюрился, взял. Правда, печатать он не стал, очухался во-время, но рукопись все-таки взял и заплатил даже Валеске некий процент. С тех пор Валеско считает себя драматургом, и когда его спрашивают:

— А что именно?

т. е. намекая на продукцию, Валеско бросает небрежно:

— И договора... все на руках... Задаток солидный но...

— Что «но»?

— Главлит...

— Задержали?

— Не про-пус-тил! Слишком крепко сказана правда, рано еще, говорят. Рано правду-матку резать... А насчет мастерства — ну, уж!..

И Валеско закатывал глаза на лоб.

Приехал из провинции начинающий поэт Белкин. Этот настропалил сотни четыре стишков буквально в три недели — сам хвалился:

— Я, брат, работаю, как пулемет: чик — поэма, чик — поэма, чик — поэма...

И хлопнув по коленкоровой папке, за которой крылись сотни поэм, он высокой нотой прорекнул:

— А там высиживать — не-е-е... У меня вô как прет... У меня, как из пушки — бац! Да-с...

И он пощипывал жидкие тонкие волоски тощей бороденки. Глаза, разумеется, светили загадочно. Белкин приехал специально и заготовил специальную речь.

Потом пришел Батырь Хатанов, «вождь сибирского партизанства», как зарекомендовал он себя при первой встрече.

— Я тайгу исколесил, — сказал Хатанов, — как ты вот тут свои издательские коридоры. Пишу теперь о партиза-

нах. Есть вон у Всеволода Иванова «Бронепоезд», «Партизаны» — повесть или что еще... чепуха! Этот человек, вижу, и не нюхал того, о чем пишет. Моя повестушка всем, братец, нос заткнет. Настоящий таежный геройский эпос... Во!

Батырь не написал еще свою классическую повесть, но уж вся Москва знает про то, что пишет Батырь. Он даже сделал заявку в «Вечернюю Москву», чтоб отпечатали:

Такой-то вождь партизан и художник писатель Батырь пишет повесть.

«Вечорка», правда, отказалась, однакож Батырь не осовел и сделал снова заявку. Отказали опять. Тогда он заявил протест по профессиональной линии, но местком писательский не помог, согласился с «Вечоркой». Батырь не стих протестом, но внешне смолк. Теперь и Батырь пришел на открытье.

Посетил и Хоропошкин, восемь лет председательствующий в никому неведомом союзе молодых писателей «Спектры Солнца». Хоропошкин за восемь лет не пропустил еще ни одного юбилея, ни одного торжественного заседанья, где касались хоть краешком литературы. Обожал паренек свою профессию.

Из старых крыс приполз Кузьма Кузьмич Волоухов, называвший себя за последние двенадцать-тринадцать лет близким другом покойного Льва Николаевича Толстого. При жизни Толстого он об этом никому не говорил и настаивает на дружбе только последние потолстовские годы. Правда, Волоухов имеет от роду, примерно, столько, сколько имел бы теперь Толстой — лет девяносто пять. Волоухов высох и пожелтел, как вымокшая и сожженная на углях картошина, лицо его изборождено морщинами, как географическая карта тонкой сетью рек-речушек, горок и разных неведомых точечек. Пиджачок на Волоухове, видимо, по-

коится со времен толстовской юности — похоже на то, что он трижды-четырежды переменил свой цвет; современный цвет его оранжево-серый. Волоухов живет теперь разными доходишками с переиздания сочинений покойного своего дедушки, писавшего во времена чуть ли не покойной Елизаветы Петровны. Переиздают туго, денег дают мало, Волоухов Кузьма Кузьмич бедствует. И полагая, что всякая иная «демократическая» власть дедушку его издавала бы смелее, Кузьма Кузьмич не любит советскую власть и при случае щиплет ее неслышно тупыми старческими коготочками.

«Вислоушка», как его звали в «дружеской среде», открывал собранье. Он речь свою повел могильным кротким голоском.

— Граждане нашего союза, — сказал он кротко, хлопая подслеповатыми мокрыми глазками, — граждане, великая русская литература жила и живет такими же великими гуманными идеями, как и вся мировая литература. Мы в этот великий день вспоминаем великих писателей земли нашей и говорим... говорим... говорим... — Он на минутку замялся и прибавил сокрушенно: — Говорим, что и всегда она должна жить такими же гуманными, высокими идеями, помня великий завет: братство, равенство и свобода.

Зал грохнул аплодисментами. Ободренный хлопками, старичок повысил голосок до тонкого визга и заключил вступительную речь прекрасным пожеланьем:

— Мы всю жизнь боролись за свободу и теперь напоминаем всем, от кого это зависит: дайте дорогу, дайте дорогу литературе, дайте ей свободу!

Зал неистово взорвался аплодисментами.

— Свободу, свободу! — закричали первые ряды.

За первыми кричали вторые, за ними прокричала и писательская молодежь, усаженная в задние ряды:

— Свободу, свободу литературе!

Батырь Хатанов неистово визжал и требовал себе слова. Слова ему не дали:

— В очередь, гражданин, так нельзя, всему должен быть свой порядок!

Батырь не унимался. Тогда сидевшие рядом приятели заткнули ему рот и повалили на стулья.

— Да, я забыл, — спохватился Вислоухов. — За последнее время правительство пришло нам на помощь и отвело правлению нашему для работы скромную комнату в этом самом доме. За это мероприятье от имени всех присутствующих выражаю благодарность нашим властям, приглашаю всех на «ура»!

— Ура, ура!.. Ура... р-р-а!..

Так зафиналилась вступительная речь Кузьмы Кузьмича. Затем выступали поэты, драматурги, писатели земли русской, и каждый кончал одинаково:

— И нам дали комнатку... и мы благодарим...

Выходило так, что каждому дали по комнатке, и потому все к правительству настроены особенно приятно и благожелательно.

Когда пришла очередь говорить Батырю, он долго в глубочайшем молчании ходил по эстраде, все обдумывал сосредоточенно, что ему и как брякнуть. Наконец, придумал и, сердито выглядывая из-под сивых бровей, прорычал тревожно:

— Я думаю, товарищи, что все ерунда. То-есть, вообще говоря, у нас нет никакой литературы. То, что написано, — это литература, а? Это литература? — спрашиваю я вас. Макулатура, а не литература! Да-с. А молодые талантливые писатели загнаны у нас в собачий курятник, и все издательства им только шиш! Шиш — и больше никаких чертей! Потому что это — могила литературе! Надо пробивать глубокую брещь в деле борьбы с проклятыми издатель-

ствами, где засели торговцы, а не писатели... Надо сокрушительным ударом нанести свой писательский удар по головам бездарных торговцев и торгашей. Я не могу молчать, я разрываюсь, товарищи. Представьте себе: вещь принята, положим, и гонораришко частью оплачен человеку, — взять хотя бы Валеску, — а Главлит — хлоп! Это што? Это порядок? Нет, нам надо нажать не только на торговую голову торгаша, но и на злую совесть нашей цензуры! Я кончил.

Батырь отер красной тряпицей лоб и величественно покинул трибуну.

Выступил за Хатановым поэт Белкин. Он для храбрости перед выступленьем хлопнул чайный стакан русской горькой и потому, когда, склонившись к председателю, спросил:

— Начинать, што ли? —

тот, учуяв водочную вонь, вздрогнул испуганно и, махнув рукой, шепнул ему:

— Все равно, уж начинайте...

Белкин откашлянул в кулак, похаркал в сторону и, раскачиваясь на каблучках, спросил:

— Вы ждете от меня чего-нибудь нового?

В это время какой-то шутник крикнул из задних рядов:

— От тебя-то? Чего от тебя ждать!

Но Белкин не смутился, хмельной угар веселым облачком поплыл у него перед глазами.

— А не ждете — и чорт с вами! Плевать я хочу на ваши на эти ожиданья...

Председатель позвонил в колокольчик, глаза его были широко открыты и сверкали смертным испугом.

— Слушайте, слушайте, так нельзя, — шепнул он Белкину.

— Нельзя, почему нельзя? — повернулся к нему оратор. — Почему нельзя? А по-моему — можно. И вообще я

вот что вам скажу, товарищи собранье: этих разных приличьев нам уж довольно, мы здесь в своей, товарищеской среде и можем быть откровенны. Человек должен всегда принадлежать сам себе — так али нет?

— И снова сзади крикнул кто-то:

— Мели, Емеля, твоя неделя!

— Ты там, болван, замолчи! — крикнул Белкин, сотрясая кулаками в сторону задних рядов.

— К порядку, призываю к порядку! — крикнул председатель, вскочил со стула и широкой ладонью со всего маху ударил по колокольчику. Удар не рассчитал, руку расколотил, от того озлился еще больше и, подбежав к говорившему что-то невнятно и глухо Белкину, рявкнул:

— Позвольте, где вы? Где вы? — спрашиваю я вас. На чердаке или в конюшне? Оду-умайтесь, гражданин, взываю к вашему пьяному разуму. Иди-ите на место! Идите!

И он за плечо попытался было отвести Белкина, но тот, почувствовав чужую руку, вдруг вскипел негодованьем.

— Драться, драться? — наскочил он на председателя. — Ах, ты, сукин сын! — и хлоп ему по уху.

Как только началась вся эта канитель публика сначала зашумела по стульям, иные поднялись и стоя наблюдали разыгравшийся скандал, с задних рядов подавали едкие реплики:

— Крой! Чего там... Скули, кобель!

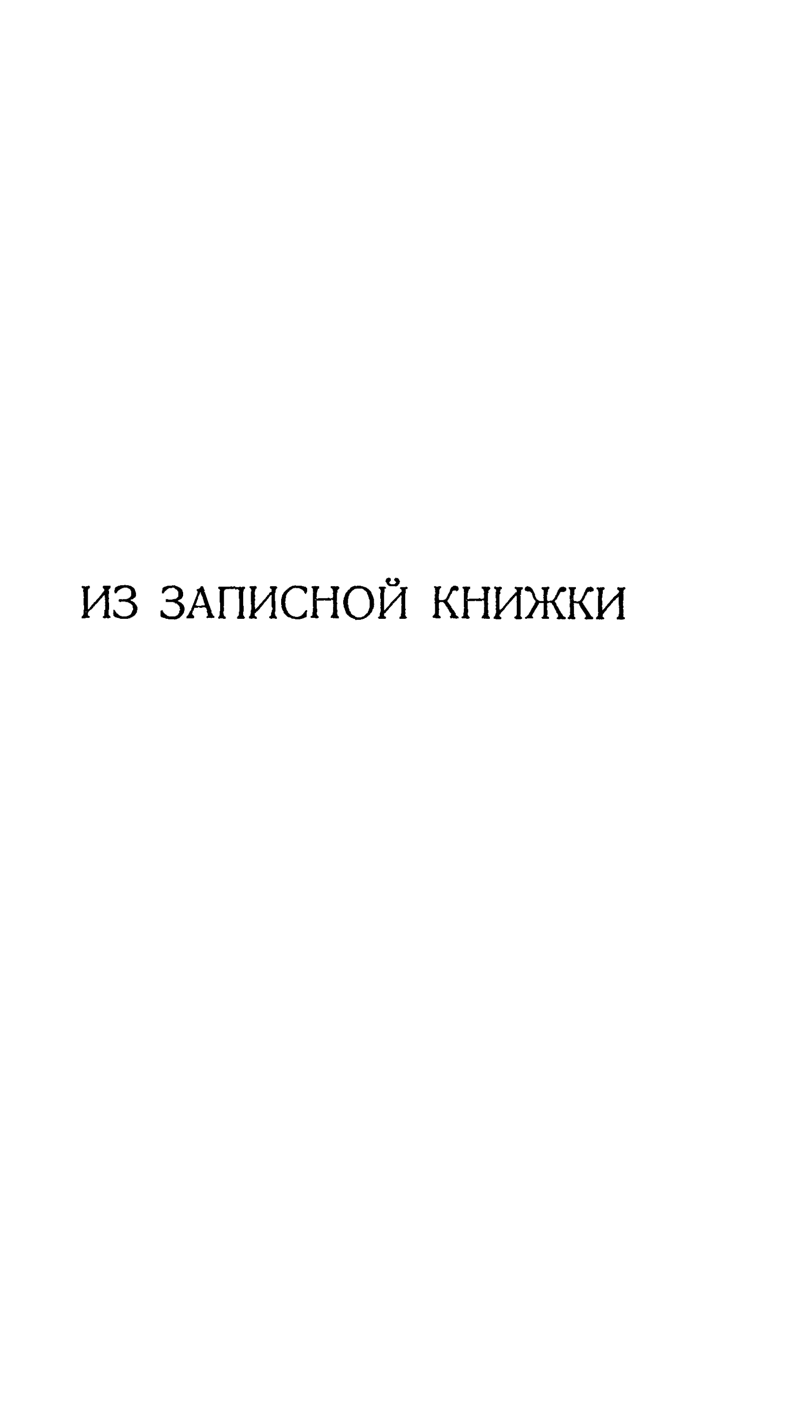
Но когда Белкин ляпнул председателя по мордасам, публика сорвалась с места и кинулась на эстраду. Белкина и председателя первым делом растащили врозь, потом председателя стали отпаивать водой, потом ему на разгоряченный лоб кто-то догадался положить носовой платочек, — видимо, дамский, — смочен он был холодной водой. Председатель охал и постанывал жалобно, приговаривая кротким шопотком:

— Меня? Ударить? Меня — ударить? Да, господа... да за што это?

Скоро председателя в горьких слезах, близкого к истерике, увезли домой. Белкина отправили в милицию.

Вечер закрыли, торжественное заседанье не удалось. Писательская братия расходилась, притворно жалея пострадавшего собрата.

2/XI 1925 г.



ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

ДРАМА ЛУШИ

Арина Сергеевна — Лушина мать — редкая женщина. Когда приду и вижу ее в семье — вижу, как любят, и за дело любят ее ребята. Она с ними так ласкова, добра, что в каждом слове, взгляде, движеньи только и чувствуется у ней, что это материнская глубокая любовь. Она все время хлопочет, что-нибудь делает, куда-нибудь за чем-нибудь торопится.

Арину Сергеевну невозможно ничем вывести из ровного ласково-тихого, просветленного состояния. Она всегда одинакова. И знаешь всегда заранее, как она отнесется к каждому делу, к каждому поступку — неизменно внимательно, сочувственно, заботливо. Одета она тоже всегда одинаково в дешевенькое белое ситцевое платье. А голова открытая, гладко прибраны мягкие жидкие волосики. Лицо бледно-желтое, нездоровое; она все время прихварывает, никогда не жалуется, не плачется, только притихнет, станет еще больше кроткая и ласковая, лежит и молчит долгие дни.

Тогда ребята уж неотлучны у ее постели. Они то и дело приносят ей что-нибудь, подают, поправляют, рассыпаются в разные стороны с тем, чтобы через минутку прибежать вновь. А она то одному, то другому положит руку на голову и молча смотрит-смотрит в лицо, словно прощается.

Сам Алексей Павлыч тогда хмур и строг. Он молча ходит из комнаты в комнату и непрерывно бросает косые взгляды в сторону больной. А подходя спрашивает всегда кратко и будто сердито:

— Ну, как?

— Получше, Алеша, — ответит тихо жена.

И он отойдет, снова без цели ходит по комнатам, перекладывая, переставляя, рассматривая разные вещицы.

Последний раз Арина Сергеевна трудно заболела, две недели не вставала с постели, исхудала, выжелтела; уж думали — и не встанет.

Луше долго не говорили ничего — знали, что сама она после недавней драмы не оправилась еще как следует. Но не вытерпели, наконец, дали телеграмму:

«Луша, мама тяжело больна, немедленно приезжай».

Теперь Луша была далеко, где-то в Дагестане; она уехала туда к своему жениху, а теперь — мужу. И Луша приехала. Исстрадалась за долгий путь, ехала шесть суток в горячке, на валерьянке, с примочками, в слезах; около ее изголовья стоял и сидел неизменно Петр Васильевич — муж; он так любил свою Лушу и уж не раз покаялся теперь, что показал телеграмму.

«Надо было просто сказать: поедем, Луша, навестим стариков, да и я им покажусь — не видали они меня. Собрались бы тихо, ехали спокойно дорогу. А теперь»...

Но делать было нечего. Поздно спохватился Петруша. Он свою работу окончил перед отъездом, а работал он в розыске и пошел туда с определенной целью — отыскать убийц своего отца. Дело в том, что года два назад его отца, большого любителя кровных рысаков, среди бела дня, на Рождестве, два бандита остановили в городе, впрыгнули в саночки, задушили башлыком и труп сбросили в горную реку. Следов никаких. Рысака угнали, труп выкинуло на камни. Пе-

труша схоронил отца и дал клятву разыскать негодяев. Он больше года работал агентом розыска, исполосовал все горные склоны и ущелья, все хотелось попасть на след. И попал. В ауле Чуй-дан увидал он однажды красавца жеребца. Дальше — больше, — оказалось, что он принадлежит Ахмет-бею, известному джигиту, конокраду, убийце, налетчику.

Осторожно, медленно разузнавал все Петруша и, когда дело стало ясно, арестовал Ахмета, а с ним и соучастника, повел их горами, а там Ахмету собственноручно — не пулю, нет — кинжал всадил в грудь и был счастлив, что отомстил за покойного отца.

Глядя на лицо его, не скажете, что у Петруши хватило духу на убийство, меж тем он — решительный и крутой парень, один пускается на двух вооруженных джигитов. Глаза его черны, налиты страстью, но смотрят спокойно, почти кротко. Голос тих, движения ровны, разговор даже несколько неуверенный, словно все время он стесняется, боится сказать глупость среди умных. К нему два месяца назад и уехала Луша, рассказала ему все, он понял, даже и прощать не стал, промолчал, и сказал только:

— Мало ли что бывает, Луша. У меня, может, и хуже еще было...

И они зажили счастливой жизнью. Луша быстро привязалась к нему. Впервые встретила она его года два назад здесь же, в Туле, в глухом городке. Стала было привязываться, но Петрушу вдруг семья вызвала на родину — после убийства отца, и сближение его с Лушей не состоялось. Но он звал ее к себе, сулил счастье, а она все не решалась ехать этакую даль. Признаться, и Арина Сергеевна все плакала и слезами удерживала ее. Но Луше двадцать два года, и она сколько раз говорила, что со страхом сознает, как уходит юность, как она, может быть, и мужа себе никогда не сыщет, как останется старой девой... Думала-думала и ре-

шила ехать к Петруше. Собрала уж вещи, запаковалась — завтра уезжает. Пришла в трест, где она работала, к бухгалтеру, толковать относительно отъезда, денег и прочего, а он ей:

— Лушенька, и что вам ехать такую даль, в неизвестность... Сама говорите, что и жениха-то своего путем не знаете, как же можно так головой в омут бросаться! Не надо этого, не надо, не делайте! Надо вам человека верного, хорошего, чтобы знали-видели вы его, а сомнения чтобы насчет его — ни-ни... Так неосторожно молодой девушке никак нельзя. Сядьте-ка сюда поближе, я давно хотел вам сказать... Вот и прошлый раз как провожал — хотел, да духу нехватило. Ну, а теперь все равно — вы уезжаете, а если обидитесь — увезете далеко с собой обиду на меня. А вы лучше, милая детка, не обижайтесь, я вам от сердца: не ездите-ка вы к этому... на Кавказ... Чего там — давайте жить со мной...

Луша раскрыла широко глаза и недоуменно молча смотрела на Грошева — фамилия бухгалтеру Грошев. А потом:

— Што вы, Павел Павлыч?.. Да что вы...

— А вы послушайте, вы послушайте, детка, меня до конца... я вам ведь от сердца... Человек я уж немолодой, мне сорок (ему было сорок шесть), я не мальчик и потому, как я полюбил вас, я давно это собирался...

— Да вы же женаты, Павел Павлыч...

— А и нет, вот я и не женат, ошиблись вы, вовсе я и не женат.

— Как не женаты? Да тут все у нас говорят, что пятнадцать лет...

— Не-не-не... нет, детка. Вы ничего в этом деле не знаете, это так, просто... можно сказать, что и вовсе даже нет ничего... Есть одна, но эта вовсе чужая женщина, а с вами я по-настоящему думал, с полным моим счастьем,

вот как... И про счастье вы уж не беспокойтесь, я знаю, откуда его достать. Жалование мое, как знаете, двадцать пять червончиков составляет. Да другие есть... и кроме того, все есть. И лошадка есть. Хватит вам и покататься и себя показать. А уж я-то, я-то как любить да холить-беречь вас стану, мою голубушку, уж я-то... Полноте, не ездите к этому своему, ну его там... Оставайтесь-ка да подумайте. И родителям вашим за моей спиной хорошо будет — это тоже опять же статья...

Луша слушала слова его испуганная, растерянная, не знала, как на них отозваться, что сказать в ответ. И сразу пропал далекий образ Петруши, она ведь его не любила, а здесь такая сразу складывалась хорошая жизнь... «Нет-нет, не надо», — гнала она искушенья, а меж тем чувствовала, что уж милей стал ей после этих слов Павел Павлыч и нет ничего оскорбительного в словах его, даже наоборот... Она не дала ему никакого ответа ни в этот день, ни в следующий, о разговоре своем с Грошевым никому не сказала, а все думала-думала.

Грошев теперь целые дни после занятий проводил с Лушей: провожал ее на лошади почти до самого дому, вечером шли в театр, гуляли. Увязанные корзинки стояли в углах. Арина Сергеевна уж не один раз спрашивала:

— Ну, когда надумала ехать-то, Луша?

— Да вот с работой пока, — лгала Луша, не глядя матери в лицо, а та и думать ничего не думала, всему верила, каждому слову.

И, наконец, Луша не пришла однажды домой ночевать. Арина Сергеевна полагала, что она прошла к кому-нибудь из подруг. Нет вторую ночь. Наутро сынишку послала Арина Сергеевна к Луше на службу. И Луша ответила:

— Не ожидайте, я с Павлом Павлычем жить стану.

Старики так и ахнули — они знали Грошева за горького пьяницу и буяна. Но что же, что же делать-то? И Арина Сергеевна пошла навестить дочку на новом жилище. Пришла с вечера. Луша одна, сидит вся в слезах.

— А сам-то где? — спросила.

— Не знаю, — ответила Луша и залилась-заплакала. — Пьет где-нибудь. Он теперь каждый день пьет. Так прямо с работы... а ночью вот приедет пьяный. Одну недельку посидел рядом со мной... Ах, мама, мама!..

И на груди у матери она разрыдалась. Осталась Арина Сергеевна ночевать, и вот часа в четыре слышит громкий стук: явился сам. Пальто распахнуто, шапка на затылке, слиплись глаза на пьяном обрюзглом лице, пеплом измазаны губы, заплевана борода. Изо всех карманов бутылки торчат. Первым делом выхватил он их, брякнул на стол, закричал:

— Эй, Луша, подымайся!

Вышла Луша из спальни бледная, заплаканная.

— Что ты, Паша?

— Пей, Лушка!

— Да что ты, Паша, ты бы...

— Пей, Лушка! Пей, говорю!..

— Ты же знаешь — я не пью...

— А, не пьешь, сука!.. Выпить со мною не хочешь, а со студентами...

— С какими студентами?

— Знаю, знаю, все знаю... У, стерва!

И он одним духом сшиб со стола все бутылки, а потом застучал кулаками, стал грозить и вдруг на диване увидел Арину Сергеевну.

— Ты что здесь?

Старуха молчала, перепуганная, не знала, что отвечать.

— А, мать? Знаю — мать... Ну, здравствуй, мамаша, поди, поцелуй меня.

— Павел Павлыч, вы бы спать...

— Ага, — заревел он, — и ты не хочешь!.. Поцеловать меня не хочешь!.. Так... Э-эх, сукины дети! — ударил он кулаком по залитому вином столу, усеянному осколками разбитых стаканов. Руку распорол в кровь и, глянув на нее, распоротую, окровавленную, — вдруг утих. Луша сейчас же стала ему завязывать тряпкой, а Грошев все целовал-целовал ее в голову, пока не подвели его к дивану. Ткнулся одетый, быстро уснул, мерзко, пьяно расхрапелся.

— Что это, Лушенька? — с тревогой спросила Арина Сергеевна, указывая на Павла Павлыча...

— А это, мама, на именинах он... случайно... это ничего... Вы не обижайтесь. Когда трезвый —он хороший.

Всю ночь не спала, проплакала Арина Сергеевна. Плакала и Луша. Но не разговаривали больше. Обе молчали.

В другой раз как-то зашла Арина Сергеевна, а он ночью снова пьяный.

— Сашка, Сашка! — кричит девчонку прислугу. — Что у тебя, подлая, лампадка не зажжена?

Девчушка было за лампадку, а он стук ей по затылку, выхватил лампадку от иконы, да плесь ей в лицо остатками масла.

— Живо, дрянь поганая!

И когда девочка налила, зажгла:

— Сашка, молись! — скомандовал он.

Девочка робко зашелестела пальцами по лбу, по плечам, по животу.

— Да не так, со слезой, гадина!!

Девушка растерялась окончательно и смешно так, жалостно зашмыгала носом.

— На колени!! — ревел Грошев.

Девчушка кувырнулась на колени.

— Поклоны! Да крепче лбом по полу стучи, сука!

— Оставь, Павлуша, оставь, — подошла было Луша и взяла его за руку.

— Прочь, Лушка, прочь! А ну, сама молиться, с Сашкой!

— Павлуша, подумай...

— Молиться, сейчас же! — бросился он на нее с кулаками.

Оробевшая бледная Луша задергала торопливо рукой, зашептав:

— Господи Исусе, господи Исусе...

Арина Сергеевна спряталась за шкаф, не показывалась, пока не уснул Грошев, растянувшись прямо на полу.

— Лушенька, что ты с таким зверем жить остаешься? Уйди от него, уйди. Загубит вконец он тебя, окаянный, — шептала мать рыдающей Луше. — Уйди, что ты...

— Как я, мама, уйду? Не могу я. Завтра вот встанет, заласкает меня, и все-то, все прощу я ему. Привыкла уж, привязалась.

— Какой привыкла — слезы одне...

— Это сейчас слезы, мама, а завтра я не буду... Он и прощенья во всем попросит. «Не буду, — говорит, — Луша, больше никогда, прости ты меня. — И сам заплачет. — Обидел я тебя»... Ну, и забуду все, прощу... И отец-то.. — Куда я пойду? Разве он примет меня теперь такую?

— Примет, Луша, примет, — плакала и Арина Сергеевна, — я поговорю с ним, примет...

Обе уснули в слезах, а наутро Грошев долго плакал у Луши в комнате и вышел почтительный, смущенный, к Арине Сергеевне, даже руку ей поцеловал. Только в этот же день снова не явился. А ночью так разбуйствовался, окна начал бить, весь двор поднял на ноги, с револьвером бегал за Лушей, грозился убить. Она выскочила на двор, а там хозяин, Телятников.

— Я не могу, — говорит, этого дальше выносить, всех детей перепугал ваш озорник. Побегу за милицией.

И через пять минут действительно пришел милиционер. Факты были все налицо, по комнатам валялась перебитая посуда, мебель, разная, ведра на кухне, перекувырнутые кадушки, выбитые стекла — все говорило о свежем буйстве. Грошева увели, посадили. А наутро выпустили. Пришел он домой молча, слова Луше не сказал, только на диване все лежал с открытыми глазами. А потом поднялся к хозяину.

— Пошумел, — говорит, — Клим Климыч, я ночью-то... Вы уж простите. Я слышал — на суд вы там хотите... Полноте-ка, Клим Климыч, пустое это, с кем греха не бывает. Я лучше, знаете что, вам и забор-то пришлю починить сегодня, да вот и дети босые ходят у вас — обувку сходим купим...

Телятников жил бедно. Случай такой — одна удача. Никакому суду ничего он не передал, а Грошев сделал все так, как говорил.

Вскоре были именины Алексея Павлыча, Лушина отца. Позвали и Лушу с Грошевым — хотели в этот вечер замириться да настоять, чтобы обвенчался он с Лушей. Сидели, выпивали. О венчаньи все еще не говорили, а так уж напились все, что было, пожалуй, не до разговоров серьезных.

— Играй, Степка, — командовал Грошев Степану Иванычу, своему делопроизводителю, отличному гармонисту, которого везде возил с собою.

— Сейчас, Пал Палыч, сию минуту...

— Живо-живо!

Степа начал было пробовать лады.

— Тебе что говорят, с... — взревел Грошев. — Играй, говорю!

— А я пробую-с...

— Вот тебе «пробую-с»!

И Грошев сразмаху ударил Степу по лицу. Тот только сморщился от боли, но не шевельнулся и быстро-быстро заиграл любимую Грошева — «Ухарь-купца». Все сидели смущенные, словно оплеванные... Когда Степа окончил и, робко глянув Грошеву в лицо, примолк:

— Пей, Степка! — крикнул тот. — Нет, погоди: раз, два, три!!! — и он три раза плюнул в стакан. — Пей!

И выжидающе замер над бедным Степой, который вдруг побледнел.

— Павел Павлыч... — взмолился он.

— Пей, сволочь! Али на биржу захотел? Завтра же выгоню, опять сбирать, будешь... Ну?

— Выпью, выпью, — заторопился Степа, вспомнив что-то страшное. И залпом осушил стакан.

Все сидели окостенелые. Арина Сергеевна заплакала и вышла.

— А ты со мной выпьешь? — обратился он к Луше.

— Нет, я не хочу больше...

— Как не хочу?

— Не хочу, не могу, Павлуша, ты один...

— А-а... один... Слышишь, Степка, один я... Ха-ха-ха!.. Нет, врешь, я не один — выпьешь и ты.

Луша робко глянула на отца и не узнала — так побагровел он, перекосилось бешенством его лицо. Алексей Павлыч молчал, чего-то, видимо, ждал еще и не мешал Грошеву пока. Арина Сергеевна не возвращалась. Луша сидела дрожащая, с пробившимися сквозь ресницы слезинками.

— Пей, Луша, не серди! Али не женой пришла ко мне? Женой, спрашиваю, али нет? — вдруг повернулся он к Алексею Павлычу.

— Сам взял, — не сказал — проскрежетал зубами Алексей Павлыч.

— Сам... Ха-ха-ха!.. Да, сам — потому что так сам захотел...

— Эй, лишнего не говори! — угрожающе прорычал Алексей Павлыч.

— Лишнего не скажем, а что надо — всегда скажу. Так ли, Степка?

Тот нервно задергался на стуле.

— А правду всегда скажу, — повторил Грошев. — И насчет студентов все скажу, потому что знаю... Шлюха, сволочь! — бросил вдруг он в лицо Луше, рванул скатерть, и все полетело со стола.

Вдруг совершилось нечто совершенно неожиданное. Алексей Павлыч выскочил из-за стола, схватил широкими лапами Грошева подмышки, бросил его на кровать и быстро-быстро по бритой полулысой голове зазвенел оплеухами. Степа вдруг тоже сорвался, забежал сзади, смешно хихикнул и со всего размаху ударил Грошева ладонью по лбу и вдруг загрозился всем пальцем: «Не говорите, дескать, это я так»... И весь съежился, побледнел, выбежал на двор и быстро-быстро начал забрасывать в рот полные пригоршни снега.

Алексей Павлыч до тех пор молотил Грошева, пока не отняли его Арина Сергеевна с Лушей. Потом, по просьбе Луши, оттащили Грошева в другую комнату и привязали к кровати. Именины окончились. Наутро Луша под-руку со смущенным Пал Палычем уходила из дому родителей.

Так выжила она целых три месяца. А потом, когда Грошев уехал как-то из города по делам, она имела долгий-долгий разговор с Ариной Сергеевной. И, наконец, решила оборвать эту муку. Снова сложила вещи она и уехала в Дагестан. А приехавший Грошев, узнав, в чем дело, рыдал, как ребенок, но поделать уж ничего не мог. Мученица Луша привыкла потом к мужу и говорила даже — будто любит его.

ЧЕРНОВ — КОМАНДАРМ ДОМА ОТДЫХА

В доме отдыха, вот уж года полтора, заведующей была Балконская, жена большого, старейшего партийца. Сама она-то не попросту дворянка, а даже княжеского роду. Чернову, впрочем, достаточно любого обстоятельства, довольно одной сотой каждого из них. Глаза наливались багровью, жилы вздувались, кулаки отплясывали угрожающий танец — стоило только Чернову услышать это княжеское имя.

Чернов — матрос, кронштадтский боец семнадцатого года; он ходил на Зимний, он ранен в боях, он остался тем, чем был в восемнадцатом, девятнадцатом годах; подозрительность, недоверчивость его, инстинктивная классовая ненависть ко всем, где он не чуял подлинных товарищей, порыв все время брать врага «на мушку» — все, все осталось у Чернова так, как было в те годы.

И вот — его назначили... заведывать этим домом отдыха. Можно себе представить, что получилось!

Я работу черновскую не знаю, полагаю даже, что он работал там не покладая рук, полагаю, что и пользы там было от него немало, но — посмотрите-посмотрите, что получилось! Я вчера только говорил с ним самолично, встретились в столовке, за обедом. Он мне рассказывал с восторгом:

— Уж я же им показал, сукиным сынам! — сказал Чернов. И в глазах у него замутилась хмельная отвага. — Уж порснул так — не забудет... Долго пропомнит Чернова!

— А что? — полюбопытствовал я скромно, не глядя ему в лицо, выражая тоном как бы некоторое равнодушие.

— Что? Очень просто — что: всех к чортовой матери прогнал!

— То есть кого же?

— Всех. Заведующую вон! И с должности вон и из квартиры вон — ищи другую! Доктора — вон! Персонал — вон! Один остался... да Вера еще, прислуга...

Он выжидательно поглядел мне в глаза: одобряешь, мол, или нет?

— Один?.. — протянул я вопросительно. — А как же одному было? Тут ведь и хозяйственные дела, и административные, медицинские... Да мало ли что!

— Ну-к што ж, один и делал...

Он остервенело откусил хлеб, засунул за щеку, надулся, глядел-глядел в лицо и вдруг рассмеялся.

— Не понимаешь? А очень просто...

— Да нет, понимаю, но... медицина-то как же?

— И медицину сам, — заявил он твердо и решительно. — Во-первых, никакой медицины я там вообще не разрешал. Почему? А потому, что это тебе не больница — медицины в одних больницах... — Потом подумал и прибавил: — Да в лазаретах! Медициной нам, брат, некогда заниматься. Хвораешь, Гаврило? А ну, в лазарет! Живо выздоровеет, никому, небось, в лазарет неохота. У нас, Гаврило, отдыхать ездют люди, а не хворать — пожалуйста, в лечебницу! Так нет, живо у меня! Ну, слов нет, хворают которые... Это другое дело. Голова положим — марш кодеин порошок... н-да, ну!.. — Он сладко причмокнул языком, будто смакуя в воспоминаньи, как сладок, приятен кодеин. — Живот схватило? — И Чернов лукаво глянул на меня. — И живот лечим: ка-сто-рочка! Она милая! И живот как не бывало! На што доктор? А бюджету меньше...

Я уже не мог сдерживаться и хохотал заливчато. Чернов и не думал обидеться на хохот, он только больше воодушевлялся.

— Что надумали, сволочь, а? Шляться до ночи! На што я, говорю, заведующий вам числюсь? Здоровье вам хранить! На што, говорю, вас ко мне наслали? Поправку делать! А вы што? В одиннадцать штоб у меня в кровати! — И добавил уж вовсе тихо, конфиденциально: — Потом в десять стал гонять и хоть бы хны! Так што сделал раз. Пришли в двенадцатом, а у меня уж кругом на замочках. Стучат, слышу — молчу. Опять стучат — опять молчу. Кричать стали — опять же молчу. А сам — зажег огонь, чтоб видно было в окно, да и хожу по комнате. Видют они меня. «Товарищ Чернов! .. Товарищ, — кричат, — Чернов, отопри, пожалуйста!» До двух часов проморил — да! — И он выразительно посмотрел на меня. — С тех пор — ша! Забыли, как шататься до ночи. А потом — уезжать. Ну, с уездом вешаться. Глядь, та прибыла на десять, эта на двенадцать фунтов. Спасибо, говорит, сохранили нас. То-то, суки, думаю. Руку подал все же!

Чернов ткнулся в тарелку, быстро-быстро вдруг заплескал ложку за ложкой. Я видел, что он торопился наесться и что-то молвить еще. Так и есть. Заплеснув торопливо последнюю ложку, отгрызнул хлеб, остаток зло брякнул под стол.

— Одна финтифлюшка там. Грелку мне, товарищ, говорит, Чернов, пожалуйста, грелку на живот... Ага, говорю, тебе грелку? А в шею не хочешь? И ванну тебе, говорю, каждый день? Ишь, барыня! Вон тебе речка рядом — там тебе и грелки и ванна... Да круг дому побегай — здоровее будешь! Так што? — наутро же, рванюга, уехала, даже и башмаки старые позабыла... А то — я да я! Как шугнул — в два счета! Я музыку люблю, да я стихи люблю, да то, да се. У меня живо! Пригласили тоже подлеца тут из ЦЕКУБУ — поэт, што ли, не знаю, а по-моему — похабник, и больше

ничего... Почитайте да почитайте, товарищ... А я слушаю — похабщина одна. Вон, говорю, и чтобы духу твоего, подлец, здесь больше я не нюхал! Понял? Мы протестовать, говорит, будем. Какое вы право имеете, чтобы литературные вечера нам запрещать? Не позволю, говорю, чтобы без разрешения, все в пепел обращу — потому заведующий я или нет? У, суки! Чтобы, говорю, никаких чтеньев и все мне на просмотр. Разрешу вам, а нет — так нет. Бардель, што ли, тут? Лечиться приехали — и лечись. А етого я не позволю.

— И выгнал? — спрашиваю.

— Выгнал, — ответил он спокойно.

— Много еще народу-то осталось? — говорю.

— Никого! — ответил с гордостью Чернов. — Хоть бы одна сволочина — до одного! Вó как!

И потом добавил тише:

— Надо быть, и дом самый скоро тово!

— Закроешь?

— Закрою. Потому как резону вовсе нет, бюджет не держит... И потом — рази ето народ? С ними богом будь — и то матом обложишь.

Чернов остановился. Перемолк минутку. Я торопился, дальше спрашивать не стал. Позже, на одном заседании слышу:

— Ничего себе — подыскали заведующего, можно сказать! Кого-то кнутом оттянул. А другому пригрозил револьвером: «Поговори, — говорит, — сукино мясо, так вот на месте и брякну!»

Скоро Чернова сняли с работы, освободили от тяжкой необходимости быть зараз хозяйственником и администратором и врачом.

Больше я уже его не видел, поздними впечатленьями о закрытии дома он со мною не делился, но был слух, что дом-то остался жить, только вот убрали того ужасного врача!

17/IX 1925 г.

ШАР ЗЕМЛИ

Товарищи! Мне, как я есть комсомолец, остается сказать вам одно: про ленуголок и как мы его сготовляли собственной рукой, без всякой помощи.

Комсомольская ячейка начисто должна провести ту годовщину товарища Ленина своей единой массой, потому как самодеятельность младшего поколения — главное дело. И мы наперед давали всем отказ. А бюро ячейки сготовило план соответственно действия на траур великого вождя рабкласса.

Книжной литературы под этот раз у нас не оказалось. Книгу покупают за деньги, а денег у нас подчистую не было. И красную материю — кровавый цвет революции, и черный матерьял — смерть палачам-буржуям, все это надо достать определенно. Тот же портрет с большой головой товарища Ленина, который есть в центре всего, окружить электролампами электричества.

Известные люди кроят знамена, затем по знаменам вмазывают лозунги, что определенно требует капиталу. Не имеющие требуемых сумм капиталу мы его сбирали промеж себя, кто сколько положит от личной живости, а все недостатки постановили просить, чтобы было нам добавлено. Кроме всего прочего, был избран комитет на положенную работу ленуголка, а вся братва кругом помогала. Отвели, как требуется,

комнату, и что было инструменту — все туда, а братва до ночи гудит, как шмель.

Портрет имелся у нас большой и готовый, который крепко поставили посередке и обернули подходяще в цвет материи. Но известно, каждому хотелось, чтобы враз показать мировое имя товарища Ленина и как пошло его ученье и как оно в красную ленту кружит шар земли.

Тогда мы порешили строить землю. Обыкновенное дело — из бумаги. Каждый лист клеили на другой и все их заклеили клеем, так что вышел чистый шар. И чтобы с разных сторон было видно ученье товарища Ленина, мы достали книги его учения и выписали оттуда самые нужные слова, которые он говорил и которыми поучал, что нам делать. И на шар написали разными красками те слова, которые говорил товарищ Ленин. Так и клеили мы и мазали, настригли разные бумажки, чтобы видно было по шару, куда что идет, и положили на етот шар земной всю комсомольскую силу, чтобы вышел он внимательный и как тому полагается шару земли. Было сговорено, что шар надуть из-под примуса горячим паром и оттого, что пар етот очень легкий и летучий, шар напузырится и будет весь круглый, хоть бы и лететь на воздух поверху.

Закончивши свою подготовку за ленинские слова и клеить материал, мы подняли шар земли от полу и придержали на руках, а под нутро ему, в самое горлышко пропустили примус, который горел настоящим примусовым огнем. И теплый пар направился по клееной бумаге в сердце к шару земному и стал надувать его словно игрушку, а бумажка клееная только потрескивает, но держится, не падает. Шар раздувается шире да шире, а что написано — видно теперь кругом, и посреди этого написанного сам Ленин зарисован, большой патрет в масляную краску, на самый центр земли построен твердо. Жару внутри шару поддается, а лицо у това-

рища Ленина будто оживает да смотрит на нас да и говорит:

— Ишь, ребятишки, как землю-то горячо накалили!

А мы шар-то повертываем, смотрим, все ли кругом идет по-хорошему, везде ли пламя пронимает, где следует. Что написано да накрашено было, так и режет со всех сторон, будто вот оно, ученье наше всему, дескать, миру видно. Эге, приглядывайсь! ..

Пока мы тут шар напузыривали паром, народу кругом набежало кучами, и все они смотрели, как понемногу вчистую как есть выходило дело, а шар все пупырился и пучил до полного росту. Мы его зацепили, чтобы обвязать, потому пар горячий из земли не должен уходить, а он как дулся-дулся да-а... как ухнет! Б-бах! Разорвался словно бомба. И весь народ, что стоял, прысь прочь. Закричали, напужались да бежать по всем сторонам. А огненный примус зажег наш шар земной, и он горел у наших глаз со всеми рисунками нашими, со всеми надписями, которые мы писали, загорелся и сам патрет товарища Ленина. Но мы удержали и закрыли его в ладоши своих рук, потому он остался как есть опаленный, а весь в целости. И мы натащили воду, затушили гневный пожар, а в комнате от того пожару остался едкий черный дым, и ничего было в ём, в дыму, не видать простому человеку, только склизко под ногами, потому что на воде разъехался обгорелый шар земли, и ноги тянуло клеем в самую грязную середку. И опять сбежалось народу, и все стояли попервоначалу молча, потому что жалко было, как погорел шар земной, а вместе с ним чуть не сгибши совсем и сам товарищ Ленин. Но мы тут стояли и вовсе виноватые не знали, что делать. Только и есть, что начисто затушили зловещий примус, нашу главную беду. Все время молчать никому нельзя, и народ кругом заговорил разным разговором насчет погоревшего: кому жалко, а кому и жалости нет.

Одни, говорит, угольки да зола, пепел, говорит, чистый остался от ихнего земного шару, а коммуна ихняя вся погорела...

Как мы услышали эти слова, будто сердце наше вырвали на-корень изо всех кишек и бросили вон — до такой степени жалость одолела и гнев кипучий завладел нутром. Не могли удержаться по силе, чтобы промолчать на такие подлые, обидные слова, и промолотили бы голову мы подлому буржую, что издевку издевал над нашим горем, да тут рядом слесарь Никанор вышел вон на середку.

— Дураки, — говорит, — вы сами, ребята, что спалили шар земной! Было дело в руках, а тут зола одна осталась, потому шар земли с товарищем Лениным и великими его словами надо строить умеючи, а не так, на шармака, как вы сожгли, сукины сыны! На каждое дело надобно разум иметь, и каждое дело знать надо на корню. Как было примус жечь, как было пар пускать, когда останов сделать, где шару горло веревкой захватить — про ето кто знал? Никто не знал. А потому вы дураки! Надо знать наперед. В самый раз, как делать наугад, всякое дело пропадет. И товарищ Ленин сам учил, как шар земной в обращенье надо взять, а вы, не то что взять — сожгли его, обормоты! И неча тут гнев свой в сторону запускать, смотри себе в нутро да думай, как заново дело делать.

И как сказал Никанор суровое слово, стали думать мы, чтобы наново шар земли заготовлять и узнать начисто передком, как дело довести до полного накаления газа, чтобы и полный был шар по-настоящему и чтобы, как теперь, в золу да пепел не обращался.

Мы стали разучать свое дело, спрашивали знающих людей, до какой точки пар пускать, где глотка из шара, перетяжку делать. Разузнали начисто, и тогда мобилизация комсомольских сил день и ночь пошла, потому до годовщины в самый

траурный день товарища Ленина осталось только две ночи и два дня. Только все была в сердце обида, что на горе наше шипели:

— Сожгли землю-то... Протютюкали шар земной...

Но мы по Никанору-слесарю плевать хотели на эти слова, а сами принялись за горячую работу — строительство нового шара. И две ночи не ходили мы из комнаты нашей, как есть находили заново слова товарища Ленина и красками записывали их на бумагу, а другие рисовали его патрет, так чтобы он еще больше остановился на весь круглый шар земли, и соответственно обе ночи клеили все щели, чтобы духу горячему некуда было изойти. И уж близким днем вытащили мы снова посередке шар етот, подняли на руках, а горячий примусов огонь стал подпускать в середку огненный пар. Народ пригрудил да ждет, что лопнет снова шар земли и что не удастся нам построить дело наше накрепко, — стоит народ да ждет усмехом нашего несчастья.

— Зажмурься, зажмурь, — говорит, — глаза, присядь пониже — сичас взрываться будет!

А сердце наше займалось в трепете — тоже и верит будто и нет. Качаем мы, качаем огненный шар и все прицеливаем, когда останову дать, потому наперед точно все распознали и прицел на минуту имеем.

— Хватит, ребята, зажмай огонь!

И мы ему глотку, шару, в петлю затянули. Весь, как был, горячий пар внутрях остался. И шар земной расплылся кругами и от разных сторон надписи великого нашего товарища Ленина сверкали, как стрелы, а глаза на патрете будто от жару внутреннего радовались и подбадривали нас: «Вали — вали, ребята — не робей!»

Тут кругом от радости проняло в слезы. Подбегал народ да шарил шар, оглядывал с разных сторон, читал слова, кото-

рые стояли из книги ученья товарища Ленина. А мы для тех, которые на прошлый раз смеху дали:

— Ничего, — говорим, — что лопнул, мы тогда обделать не умели, а Ленина шар земли никогда пропасть не может, только надо уметь с ним обращенье построить. Надо сначала учиться делу, занозить его на сердце и на мозгу, а не тыкаться слепому щенку не знавши, который момент приостановить горящий пар от огненного пламени и как его вновь подпускать полным ходом. Потому и сам товарищ Ленин учил нашего брата, что дело разузнавать надо наперед и по-настоящему, и ежели неудача какая — снова его тяни, а ежели и снова не выходит, ты опять снова, и до тех пор мытарь, пока начисто не выйдет полным ростом. И вовсе нет такого правила, чтобы дело свое кидать на половине, ему следовало навсегда дать передых, очухаться, а там опять, все опять да опять — что ни на есть до победного конца, как нас учил и сам товарищ Ленин.

25/VIII 1925 г.

ИСПОВЕДЬ СТАРУШКИ С НОВОГО АФОНА

Тому делу годов будет тридцать, баба я тогда была молодая, ядреная, крепкая баба, на селе мужику не дамся, в работе наперед всех хожу. На Афон мы собрались, мать моя, целой дюжиной — все как есть с одного села, с Артемовки.

И от самого берега, мать моя, зданье идет пребольшенное, все белое закрашено и камнем состоит на фундаменту своем. Был такой монашек у зданья того, в роде как замечал приезжающий народ и показывал ему, как туть жисть свою провести в етаком священном месте. Сидит он будто иконка святая, весь в свечки закутался, сидит около обожженной свечечки, ланпадки околь его ангельские светятся, и образы божъи кругом понаставлены. Которы, милая, в киёт золотой заправлены, а которы на столике стоят и прислонены, будто упасть опасаются о пол — о пол тот самый каменный и будто даже железом окованный, потому что цветы на нем разрисованы всесветные во все стороны благолепно узорами многоцветными. На столике малом, мила моя, возле иконушек золотых, книги разные черные лежат, видать, что веку им не считано да и счесть его нельзя — древние книги про жизнь господню и святых его. Одне ето черные, а другие што золото, на манер парчи, в роде как сами иконы какие обряжены. И сидит етот монашек седой во всей етой святости, свечки продает люду проходящему — кому за алтын, а кото-

рому и боле того. Сидит, указует дорогу по святому Афону, рассказ ведет про всякое нужное дело. Помолившись на ту часовенку святую, окстив себя в преславных ступенях той Афон-горы, проступили мы толику дальше и обретили другого отца священна. Етот не то што у часовни, а просто на воле за столиком сидит и тоже добром всяким торгует: кому крестик потребен соответственный, кому ложечка от мест святых али чаша какая деревянная, али пояс какой для одевки на счастье человеку — у того отца святого на столике все раздобыть можно за соответственную гривну. И тут постояли, мать моя, кому разное купить была охота, и от стола проследовали как бы в роде до харчевни какой. Она не так что бы лавка, на манер, дескать, кабак, што ли, оно все как след и по-казенному, от самого монастыря етого содержанья люду приходящему — и все бесплатно и все как бы по-братскому.

Сняли мы свои котомочки, в уголочку приложилися. Как-де, отцы святые, быть нам, уходить куда али тут оставаться. А они нам столь ласковым и важным голосом:

— Оставайтесь, — говорят, — женщины, сестры наши, на месте сем, потому что каждый пришедший человек может тут четыре дня пребывать бесплатным человеком, а на пятый день выселяться должон.

И тут по скорости они даже рассказали нам, как заявляются некии люди злые и живут, едят и кормятся почитай что месяц в тридцать днев. Таких господов просят милостью, чтоб оставили они житие афонское, а они в брань пойдут, и тогда дело сходило быдто до полицейского чину, потому как убирать они должны всякого опоздавшего человека. И набралось, мила наша, всего народу почитай, что триста человек, а тут и каждому трапеза и житье ему все готовое. Тогда мы отцу говорим:

— А откуда ж, отец, скажи нам, добро это на нашу братию такую собирается?

— Есть, — говорит, — люди добрые, купечество именитое, которое тыщи многие на Афон сей жертвуют, и на тыщи эти служба вся и кормленье все происходит. А затем, — говорит, — вы сами, молельщики Христовы, когда домой к себе проберетесь, и вы станете для господа бога содержанье присылать. Так оно и держится, — один пришлет, а другой живет. А затем, — говорит, — есть еще гора Афон святая, что в далекой турецкой земле, и там монастырь стоит стариннай, и тыща в нем монахов перед богом спасается, — тот богат монастырь тоже лепту свою досылает. И к тому же, — говорит, — у нас сады свои богатейшие имеются, ремесло свое всякое — тут и плотники есть, и столяр, кузнец али слесарь. У нас, — говорит, — все свое, даже електричество, — говорит, — сами себе поставили. На горах, — говорит, — далеких водопад страшенный падает, а мы, — говорит, — мать моя, трубу до него большую чугунную провели — все в гору, да камнем, да под землю — и по той трубе такую силу дали воде етой водопадной, что как внизу она ударит, так колесо вертит могучее, и от могучего колеса тово електричество-свет по Афону всему разливается, даже и собор весь святой огнями електрическими осиян стоит.

И рассказали нам многое другое монахи, отцы наши, а мы все слушали да слушали, как речь они свою заводили неторопливую. Один етак — статный, да крепкий, Варлам по имени.

— Покажу, — говорит, — я тебе, молодка, пещеру святую, где старцы разные спасаются, с богом молитвы свои творят. Отдохни, — говорит, — молодка, да проведу я тебя за полуденный час. А как место то священное, то большой толпой грех ходить до него, и пойдешь ты одна, а я как бы по святому месту поводырь стану тебе.

И как было солнцу на запад итти, позвал Варлам меня на пещеру итти святую. Как идем мы, мать моя, а сбоку дерево на дерево распохожее стоит, как бы кто его одно под другое смастерил искусно.

— Кипарис, — говорит, — дерево ето прозывается, святым почитается оно, в месте водится святом.

А етот самый кипарис, глядь, все дале, все дале — дорогу целую выровнял, и краев ему не видать. Да и сюда гляну и туда гляну — кипарис везде произрастает, да маслина ета будто серебристая стоит, и будто пыль от нее в воздухе пылится, а чистый воздух, и ето глазу человеческому только представленье одно.

Как прошли мы кипарис етот, родные мои, мельница тут стоит, а все тою же водой горной работает, хлеб на весь Афон готовит, а народу, сама видишь, мало ли на Афоне проживает. И за етой мельницей каменны приступки вверх ведут, а за каменными приступками дверь железная и на замке она, чтоб зря человек не ходил без надобности. Как за дверь ту железную шагнули, ахти, батюшки мои, озеро нам черное предстало, и вода в том озере бирюзовая, а холоду она необыкновенного, потому вся из горного ручья составлена, и рыба в той воде от холоду не водится, кроме как одна кефаль-рыба, что холоду не боится никакого. И на озере том важно столь плавают птицы заморские, что пеликаны здесь прозываются, плавают тихо и все головки вытягивают, а то вдруг подымутся на лапках да трепыхаться зачнут по воде. Гляжу я на воду бирюзовую, гляжу я на пеликана-птицу, на скалы ети каменные, что с краю идут, да на леса те зеленые — и думаю: благодать же ты господня, вот он рай и есть на земле, Афон етот самый! И глаз оторвать не могу своих от красоты той прекрасной, а Варлам монах-отец все дальше идет, на пещеру торопит меня. И пошли мы тонкой тропою, что о берег того озера касается

да заросла вся травами душистыми, цветами разными да сливой-ягодой. Ты по тропке идешь, а ягода сама за тобой увивается. И как пошли мы тем берегом, а вода-те шумит внизу, заливается — потому за озером речка такая оказалась шумная. И шла она, шла, текла по камням, гремучая, да там в камнях так и запропала. Глянула я — где моя речка, ан, нет ее, в землю под камни ушла и нет, не слышно боле, как идет она низом. А как травы там пахнут острые да душистые — голову кружат, мутят разум человеческий. Внизу камень, гляжу, гладкий да крупный, все рассыпается, а сверху лес стоит дремучий. Жутко мне стало, и молвила отцу я Варламу:

— А доколе будем итти мы, отец?

— До пещеры, молодка, до пещеры, — говорит, а сам шагу набавляет, и туго мне поспевать за ним. Хоть тучен человек, а до надобностей своих быстро ходит. И вошли, мать моя, мы в дремучий бор, перешли скалы мы черные, вышли на какое-то место страшное, где не видно ни тропы ноги человеческой, ни свету божьего не видать.

Страшно мне стало, аж душа пропала, закрыла я глаза.

— Страх, — говорю, — берет меня, отец, и недостойна итти я дальше до пещеры той святой. Грешная, видно, грешница, — говорю, — коли страх меня обуял столь дико.

А он обернулся да взял за плечи меня, нажал на себя.

— Не робей,—говорит,—молодка, не робей! Устала ты, отдых надо, сядем и телу отдых потребный отдадим. А ты волненье свое упокой и тогда смело шествовать будешь за мной.

Да так меня на траву зелену посадил и сам опустился-сел.

— Зябко-холодно, — говорит, — тебе, дщерь моя, согрею я тебя дыханием моим.

И обнял меня и дышать стал по лицу, и будто от дыханья того стал страх мой пропадать, а в теле моем будто жар даже разгорается разом. И он дует-дышит на меня, а сам

слова разные говорит про жизнь свою священную, да про плоть свою неуемную, про соблазн свой греховный.

— Что ты, — говорю, — отец мой, дела какие мне рассказываешь в месте таком?

А он:

— Место, — говорит, — как место, для всего подходящее, и никакой тут пещеры вовсе нет.

— А зачем тогда мы даль с тобой етакую шли? — спросила я Варлама.

— Вот зачем... — говорит.

Да как бросится зверем лютым на меня да как губами своими защемит рот мой, а лапищами тело мое обуял, окаянный, и весь нахлопнул, надавил на землю меня.

— Все равно, — говорит, — хоть кричи, хоть нет — медведь рази один услышит, а лучше сделай все добром, сопротивленья не ломай.

Уж я рвала его рясу, рвала, уж я кусала руки ему, кусала, да будто медведь обвалился на меня, залапал, гад!

Вот она какая пещера ета святая! Плюнула я с той поры на рясу монашью, увидела, как под етой рясой Варлам живет, что зверь, и охота до святых мест пропала у меня вовсе.

Вот как, мать моя, ходила я до Нового Афона. А подружки долго молчали, на селе только сказали, что с каждой почитай то же было, свово хотели монахи: кто на пещеру звал, кто мощи разные обещал показать, косточку достать святую али воды из источника божьего добыть. И все на одно: как только на глухую сторону доведут — тут тебе и всей святыне конец. Слышу вот теперь, что разогнали подлых, и сердце радуется мое. Так их и надо, еще бы повесить половину, что землю так осквернили, да нас позорили, окаянные.

Афон, 24/VII 1925 г.

ЛОМДЖАРИЯ, ДМИТРИЙ СОЛОМОНЫЧ

Требовалось мне очень немногое: отправить из Нового Афона в Москву телеграмму. Просил я в этой телеграмме о малом — о продленьи отпуска.

Был вечер, часов пять. Я знал, что тут повсюду — и в Сухуме и в Батуме прекращают работу рано, часа в три. Но все-таки пошел: авось. Притом же телеграф такое дело, что тут все возможно. Подошел, торкнулся в дверь — заперто. Сидит, гляжу, старушенция.

— Не знаешь, — говорю, — бабушка, как тут телеграф?

— Знаю, — говорит, — батюшка. В эту вот дверь надо... Да заперто, поди... Закрыли все...

— Закрыто, бабушка... А где он, телеграф, живет, а?

— Заведущай? Вот тут, наверху.

Я по лестнице поднялся вверх. Отворил дверь, покричал хозяина. Молчание. Я вступил в комнату, позвал еще громче. Ни гу-гу. Я прошел комнату, вторую, посмотрел на балконе. Все было открыто, а в комнатах никого. Ушел.

— Нету? — спросила старая.

— Нет, бабушка. Как же быть?

— А ты в почту постучи, может, он там заперся.

Я обошел кругом и постучал в дверь.

— Кто там? — окликнули изнутри.

— Я, приезжий.

— Какой приезжий?

— Больной... курортный.

И услышал я через дверь совершенно неожиданно:

— Вы, курортные, самый надоедливый народ, вы всегда мешаете!

Я смолчал, ждал у двери. Говоривший подошел, отпер, выглянул черной головой, спросил:

— По какому делу?

— Я извиняюсь, — затараторил я ему. — Такое уж дело. Телеграмму надо... в Москву...

— А... это пожалте, это входите...

Он прошел впереди меня и вдруг подвинул стул.

— Садитесь, пожалста. Важный телиграм?

— Важная...

— Эта очинь харашо. Тут я весь день телиграмы посылаю, вон сколько, посмотрите!

Он подтащил мне какую-то книгу записей и показал там столбец отправленных телеграмм.

— А что ж вы, — спрашиваю, — сам и отправляете?

— Адын, все адын... И почтой заведу адын, тилиграф адын, карисподенций адын, и сторыж адын — я все адын, больши нет...

— Так что ж, трудно?

— Очинь трудна... весь день тут, работай. И сплю часто здесь, к себе в квартиру нэ хожу. Очинь трудна... Но как я старый спец, — семнадцать лет работаю спецом, — так я все успивай. Другой эта бы не успил, другой давно бы тюрьма сидел. Повышение труда... Я просил штат — нельзя, говорят. А до меня четыре человека работал. Был четыре, а теперь я адын. Вот как...

— Трудненько, — согласился я. — А вы сами что же — абхазец?

— Я? На почте? Абхазец? Нет, на почте абхазцев нет...

— Так как же это? Здесь же Абхазия, как это их нет?

— А так и нет. Вот посмотрите всю Абхази... Я грузин, и везде грузины, потому что грузин — культурный народ, грузин давно уж вперед ушел, а абхазы нет — они только начинают. Народ молодой, дикой, нет культуры.

— Все грузины? — переспросил я. — А армяне как?

— Армяне? Армяне больше торговать. Но я скажу вам: хоть сам я и грузин, но все-таки армяне самый первый народ на Кавказе, самый умный и работать любит. Армянин всегда работает и больше всех работает. А грузин разный — один работает, другой нет, грузины все разный...

— Да, вот о грузинах, — подхватил я его слова. — Что ж, вот абхазцы и аджарцы — тоже грузины.

Он снисходительно улыбнулся, как взрослые улыбаются, когда ребенок спросит: «А что небо, мамочка, из бумаги сделано?»

Он перевел дух, промолчал несколько секунд для выдержки и размеренно, строго сказал:

— Я вижу, вы национальный политика слаб. А я национальный политика силен человек, я вам скажу — позвольте знать ваш имя?

— Я сказал.

— Позвольте знать ваш занятья?

Я сказал, что пишу.

— Очинь харош. Очинь харош. Только плох, что вы писатель, а национальный политика не знаете — эта нельзя... Патаму что абхаз сам по себе, а грузин сам по себе. Разний народ. И язык разний. И род разний, обычай — все разний... Аджарцы — те немного близкой грузину народ, а абхазцы — дикий народ, грузины не дикий. Грузины здесь, на Кавказе так, как русский народ у себя: первый народ по душе и по культури. А по уму армянин самый острый... Грузин такой ум добрый и открытый душа,

как русский, зато грузин всегда любит русский человек... Вы русский?

— Русский...

— Вот потому я имел до вас особый симпатии... Я сразу вас считал как товарищ, потому грузин всегда любит русский товарищ.

— Да, уж тут как раз, — подтвердил я ему любимую грузинскую мысль, — я и сам люблю грузин, хороший народ.

Соломоныч вовсе просиял и повеселел.

— Но грузин разный, всех любить тоже нельзя.

— Конечно.

— Всех нельзя. Потом я вам скажу: в Кахетии живут кахетины-грузины, потом есть карталинцы — в Карталинии, есть имеретины — эти около Кутаиса... А вот от Кутаиса в сторону есть озургеты — знаешь Озургет?

— Знаю... За Чаквой, что от Батума?

— А вот, за Чаквой... Там живут грузины и называются гурийцы. Ной Джордания — оттуда, профессор Мар — оттуда. Профессор Мар знает двадцать шесть языков, а он оттуда. Оттуда много бальшой народ... Хоть он, Джордания, ошибся, он не умел бороться верно, но он большой человек...

Я сидел и слушал. Я только поддакивал или подсказывал, мне хотелось послушать собеседника. Телеграмма лежала перед нами, но что же так уж торопиться — обождет, успеет. А он, Соломоныч, по правде сказать, и вовсе забыл про цель моего прихода. Он отодвинул в сторону все дела, облокотился на стол, и видно было, что готов он еще проговорить с час и два и больше.

— Я тоже гуриец, — сообщил он мне. — Я это говорю не затем, чтоб хвалиться, а просто затем, что у нас гурийцы самый первый народ изо всех грузин... Кахетинцы — эти драться молодцы: когда они сидят в окопах, их никогда не

выбьеш, они молодцы. А у нас — у нас много умных людей. Умный и Джордания, а оказался почти дурак — разве можно быть меньшевиком? Вы читали статью?

— Какую? — спрашиваю.

— А как за границей рабочие меньшевики, которые убежали из Грузии, как они за советскую власть.

Я статью эту не читал.

Он живо достал номер «Зари Востока» и прочел мне передовицу, где об этом говорилось. Потом с большим подъемом хлопнул по газете и сказал:

— Только глупый дурак может сказать, что не надо советской власти. Вы партийный?

— Партийный, — говорю.

— А я вот беспартийный, я спец, но я вижу, как заботится о спецах советской власть. Мне немножко мало жалованья, это верно, я еще тридцать процентов нагрузки имею, и всего это сорок два рубля — это мало, я знаю. Потом квартира бесплатный, а у меня семья пять душ... Но все-таки я знаю, что меня тут ценят и любят как спеца. Мы все директивы из Москвы, прямо от вас получаем, потому что наркомпочтель у нас один — товарищ Смирнов. Почта везде одна, и как еще, например, армия или морское дело, телеграф, железная дорога... Это все одно... У нас кругом все одно, общий план, и надо, чтоб был общий, потому что все работаем. А меньшевики хотели, чтобы в Грузии все было только свое — вот и надо было бежать в Париж... Вы знаете? Вы вот хароши человек, я сразу вас понял, потому что вы любите слушать... вы все сидите и слушаете. А почему? Разви вы меньше моего знаете? Нет, не меньше. Вас там всех научил этому товарищ Ленин, он говорил всегда: «Поменьше говори, а побольше слушай, да делай». Вот он вас там всех чему научил, да и нас тоже сюда учил — вот почему любим мы русский народ... Наш гурийцы тоже

хороший народ, а все-таки русский еще выше. Я не хвалю себя, я што... Это верно, что у жены моей брат есть нарком. Но что же, что нарком, на что он мне нужен, протекцию, что ли? Так мне она не нужна, мне самую лучшую протекцию составит моя собственная голова, а все другое плохо помогает. Вы мне очинь хороший человек, — дополнил он неожиданно, — вы меня так хорошо слушаете. Пойдемте на прудок.

— Куда? — не понял я.

— На прудок. Тут прудок у моря, и там Ваня Ламшидзе. Мы у него кипиановски выпьем, а?

— Так, а телеграмму-то?

— Ах, да, телеграмму! — спохватился он. — Это мы сейчас же.

Взял он телеграмму, наклеил ее на бланк, стал подсчитывать слова:

— «Госиздат» — это можно одно слово, потому что адрес. Такой слово, если адрес или подпись, за один могу считать, а вот в тексте не могу. Вот это, например, не могу: «Ре-нтте-ни-зация»... Это не могу — это как его?

— Что?

— Как его просто, по-русски... чтобы два слова.

— Да это никак нельзя, — улыбнулся я, — это одно слово.

— А «Госиздат» — два?

— Это два.

— А это одно?

— Это одно.

Я объяснил ему, что такое рентгенизация. Ломджария согласился. Скоро он кончил подсчет, получил с меня монету, и мы пошли на прудок.

У самого моря, там, где воду горного водопада отводят в пруды, есть маленький духанчик Вани Ламшидзе, или как-

то в этом роде. Под магнолиями и кипарисами стоят небольшие столики — тут пьют вино.

— Ваня, — скомандовал Соломоныч, — давай нам две бутылки хорошего вина! Кипиановски и свирски... Эта хароши человек из Москва приехал, мы будем пить товарищи...

— Слушайте, Дмитрий Соломоныч, — сказал я ему. — У меня ведь сердце больное, и пить мне нельзя. Зачем вы две бутылки — я ведь только чуть-чуть...

— Харашо.

Что значило это «харашо», я узнал лишь потом. Он на все сомненья мои отвечал только этим ласковым словом: «Харашо».

Он налил по стаканчику.

— За здоровье вашей супруги, который одна бальной лежит дома, — и отхватил весь стакан.

Я было — половину.

— Ах, это так... это вы так за здоровье любимой су пруги?

И он так крепко насел, что вынудил выпить.

Потом — за мое здоровье. Потом — за его здоровье.

Я дальше упирался:

— Не могу... сердце...

— А сердце — это пустяки, вы не обращай вниманья на сердце и пей вина. Мы, грузины, такой народ, что можим пить до утра... Ваня, — крикнул он. — Ваня, — поди расскажи, как надо пить, чтобы не болело сердце!

Ваня быстро подошел и рассказал историю о том, как одному больному сердцем врачи воспрещали пить вино.

— Тогда он не пил десять лет, а потом рассердился и сразу напился пьяный, и как напился — сердце стал совсем здоровый...

— Слышали! Слышали! — торжествовал Ломджария. — Врачи всегда врут, а вы пейте, и все пройдет.

Я все-таки упирался. Тогда он крикнул:

— Коля! Коля!

Я полагал, что это будет какой-нибудь мальчуган. Гляжу, подходит из-за деревьев старый грузин, годов шестидесяти.

— Это вот Коля... А это — из Москвы, хароший товарищ.

Коля отдал честь, мы пожали друг другу руки, он сел. Пить он не мог — воспрещено. Ломджария не настаивал, зато настоял, чтоб мы выпили за здоровье Коли. Я чокнулся, выпил половину.

— Ах, так вы только половину? Коля — видишь, как он тебе хочет здоровья?

Коля только улыбался и прижимал ласково к груди свою правую руку.

Тогда я прямо к Коле:

— Вы, конечно, верите, что я вам добра хочу. Ну, а как, не обидитесь, если я только половину выпил?

— Нет, не обижусь, а все-таки лучше всю.

Я вынужден был допить.

— Больше ни-ни...

— Харашо, — сказал мой мучитель.

— Яши! Яши!

Из-за деревьев, словно откуда-то из рога изобилия, вынырнул новый — «Яши», словно они у него тут были припасены заранее.

— Яши, эта товарищ из Москвы. Он пишет газеты. Пей, Яши, он будет писать, как ты пьешь кипиановски...

Все рассмеялись.

Уж темнело. На поляне футболисты спешно доигрывали последний матч.

В пруду плеснулась какая-то огромная рыба. Чернели горы, сверкал белизною во мраке монастырь, от воды стало холодно.

— Ну, я домой...

— Харашо, — согласился, казалось бы Ломджария. — Еще выпьем.

— Да нет, холодно...

— Ваня, бурку!

Через минуту на плечи мне накинули бурку, мне нечем дальше было крыть. Сидел и, чтобы не обидеть, пил. Подпапились яростно. Я, вдребезги веселый, часов уж в девять воротился домой. Ломджария так и остался на прудках — не знаю, когда воротился.

Так-то попал я в когти горному обычаю, насилу выбрался благополучно. Теперь стану знать — лучше вовсе не садиться за стол, чем встать из-за него по своему желанию.

Афон, 24/VII.

ШАКИР

Багажом пришло ко мне пуда три книг. Попробуй-ка, дотащи по нынешней дороге! Все развезло, осклизло, распустилось. Со мной крошечные саночки (сосед-спекулянт больших не дал). Везу. От станции продвинулся еще всего семь-восемь саженей, а пот так и садит — вижу, что до Арбата не вынесу. Стою, раздумываю, как быть...

— Ай, товарищ-господин, давай я! ..

Из толпы выделилась фигура татарина. Зипунишко, лапти, обычная татарская шапка. Дыры, лоскутья, клочья, заплаты. Усы моржовые — темно-рыжие, мокрые. Глаза чуть видны — моргают, слезятся. Голосок тонкий, умоляющий.

— Денег нет, брат, платить нечем будет...

— Мешок картошка везешь? — спросил он, указывая на груз и, видимо, предполагая получить «натурой».

— Нет, книги.

— Книги... Куда книги везешь?

— Далеко, на Арбат.

— Далеко на Арбат. Давай я...

— Так нет, чего же, братец, давай уж лучше вместе, я тоже помогу.

— И вместе харашо, давай вместе...

— Ну, так за сколько же?

— Рупь давай.

— Это сто тысяч?

— Сто тысяч давай.

— Так и быть — поедем!

Мы тронули. Целимся больше на дорогу — тут кое-где сохранились снег и лед. Мчатся автомобили, окатывают нас каскадами навозной жижицы, перегоняют на тротуар...

Спутника моего зовут Шакиром, он беженец с голодного Поволжья. Только вчера похоронил жену, осталась на руках полуторагодовалая малютка; не знает, куда теперь с нею деваться, чем кормить. Сам работы не нашел, околачивается возле больших вокзалов. Но и тут дела Шакиру не даются: саночек нет, купить их не на что, а на ручной багаж монополию захватили станционные носильщики, злобно встречающие ободранных конкурентов. Шакиру за пятьдесят пять, силенок у него осталось немного, на тяжелую работу не годится.

— Таскать все надо, — говорит он. — Есть хочишь — таскаишь. А таскать не будишь — есть не будишь. Ящик таскаишь...

— Да у тебя и силы-то нет, Шакир, где тебе ящики подымать?

— Хлеба хочишь — сила есть, хлеба не хочишь — сила нет.

— А ты обедал сегодня?

— Вчера обедал.

— Ел сегодня?

— Вчера ел.

— А будешь есть?

— Буду есть — ты хлеба дай...

— Дам. А девочка твоя — кто ее-то кормит?

— Дворника жена есть... у нее девочка... Сколько деньги принес — жене дворника отдал, все ей отдал.

— А далеко живешь, Шакир?

— Тагански...

— Это пешком туда и пойдешь?

— Сегда пешком ходим. Деньги дочка нужны...

Я посмотрел ему на ноги. Лапти запутаны в лохмотья, все это намокло, пропиталось навозным соком, грязно...

— Ноги-то мокрые?

— Ноги сегда мокрые.

— Болят они у тебя?

— Доктор ходил, сказал — болят ноги...

— Лечишь, значит?

— Больше доктор не ходил, станция ходил, работать надо. Деньги дочка носил.

За долгий путь о чем только не переговорили мы с Шакиром! Он рассказывал, как жил в батраках, как работал, нуждался. И выходило так, что прошлая жизнь была у него только чуть-чуть получше той, что настигла теперь. Он не запомнит времени, когда семья была бы разом и сыта, и одета, и обута. Чего-нибудь всегда нехватало, а семья была в семь человек. Теперь кто поумирал, кто замуж повыходил, остался Шакир с женою вдвоем, да тут еще, нагрех, девчонка родилась.

— Девчонка зря родился, — говорил мне Шакир. — Девчонка не надо родиться... Малака нет, хлеб нет, голод есть — девчонка не нада родиться...

Но делать уж нечего — бьется, а кормит. Теперь, без «бабы» ему совсем тяжело; она хоть что-нибудь сварит, бывало, когда Шакир денег принесет, а теперь и денег заработает, да варить-то уж некому.

— Купишь хлеб, огурец, капуста, вода попил, больше нет ничего.

— И так каждый день?

— Так сегда... Только хлеб не сегда.

— Плохо тебе, Шакир, живется... А будет лучше? Как ты думаешь — будет лучше али нет?

Мне хотелось узнать, ждет ли он чего, надеется ли на что-нибудь. Только я опасался, что не поймет Шакир вопроса. Ан нет, понял; глаза осветились, расширились, помолодели.

— Все будит харোший...

— Так где же хорошо-то, — донимал я его, — посмотри, как ты нуждаешься...

— Сичас нет — и плоха... А когда будит — харошо будит.

— Ты уж не доживешь, Шакир.

— Девчонка жить будит, дочка жить будит...

— А знаешь ты, что такое совет?

— Совет? — переспросил он. — Совет знаю, ходил совет...

— Нет, ты знаешь ли, как он выбирается и что он делает?

Как ни силился Шакир что-то мне объяснить — понять было невозможно. Я стал ему объяснять. Смеется радостно, останавливает меня среди луж и навозных кучек. Извозчики и автомобили обдают грязью, а мы стоим, и возбужденный Шакир, глядя мне в глаза, спрашивает торопливо:

— Бедный человек не будет?

— Не будет, Шакир.

— Все работать будим?

— Все...

— Ленин сказал?

Я радостно вздрогнул от этого вопроса. Мы про Ленина еще не говорили с ним ни слова, Шакир назвал его имя первый.

— Так, значит, и он, этот вот темнейший человек знает, знает и чувствует, что имя Ленина можно называть лишь там, где говорят о труде, что Ленин и труд — одно и то же.

Перескажешь ли все, что говорили мы за двухчасовую дорогу. Только я заметил, прощаясь, что Шакиру слова мои запали на душу, что они ему радостны, что редко-редко, может быть — никогда не говорили еще с ним так, как это вышло теперь...

Взяв краюху хлеба в обе руки, погладывая ее с концов, он уходил от меня веселый и довольный, на свою далекую «Тагански», к голодающей малютке-дочке.

10/III 1922 г.

ПО МАЛИНУ

С Борисом Федоровичем на ночь собрались итти по малину. Места кругом он знает превосходно, тридцать лет ходит по лесам. В девятом вышли, захватили в узелок яйца, хлеб, соль, ватрушки. Корзиночки взяли порядочные, фунтов на десять: «Наберем, — говорит, — ничего, я и больше, по ведру зараз набирал». Пошли. Дорожка по-над озером, идет сначала берегом, а дальше уходит в глубь дремучего соснового бора. Зачались обычные дорожные разговоры — про разное, что в голову придет.

— Леса тут у нас глухие, — говорил он, — глухие, а спокойные. Не было еще случаев, чтобы погибал человек. Разве зимой только замерзнет который, заблудившись. А летом — благодать! Даже девчонки малые и те, как только ночь, а дороги нет — марш на дерево. Притулятся там словно белки — и ничего себе, до самого света. А как солнце подымется, побегут куда-нибудь, на сторожку придут, сторожек тут много кругом, из сторожки и к дому придут... Один раз только, помню, годов тому будет пятнадцать, кучер из Оптиной помещика увез на железную дорогу. Ехал обратно, а его три молодца и задержали, убили и лошадь угнали. Поймали их потом... Один случай знаю за всю жизнь, и тот у железной дороги, не в лесу, а леса наши тихие. И зверь не трогает. Собирал я так-то ма-

лину по канаве, а впереди, шагов за сорок — медведь. Поднялся на задние лапы, посмотрел на меня — чего, дескать, мешаешь малину есть... Посмотрел, да и в лес ушел от малинника, а я собирал за него. Самый-то спелый куст выбрал, подлец! Али случай был. Мужичок на телеге ехал. Едет-едет, а лошадь как зафыркает, забьется в оглоблях, нейдет, да и ну тебе. Што за притча, не поймет мужик. Он ее и хлестать, он и гонит, а лошадь бьется, нейдет. Тут он кверху глянул — ан, на дерево медведь забрался, сидит. Смотрит и смотрит, глазами блестит. Ай мужик-то робкий был, как закричит благим матом, лошадь-то перепугал, она и кинулась обратно. Лошадь скачет, а мужик, знай, кричит. Близко косили, набежали мужики. Што да што — он и слова молвить не умеет. Как отдышался — медведь, говорит. Где медведь? Рассказал — они и пошли. А как подходили, Миша слез издалека да и давай валежник месить, улепетывает, только хруст по лесу по всему пошел... Спокойный зверь, никогда, чтобы самому привязаться первому, не тронь его — уйдет... Я гляжу, — заключил Борис Федорыч, — это всегда так случается. Миша вот любит малину, мед, сладкое все любит, а сладость навсегда расслабляет и добродушье дает. Вот он и добрый. Всякий зверь, что сладкого много ест, добрый. И человек даже так, только уж не тронь, а тронешь — такая тут ярость будет, что и у «горького» нехватит ее: все перешибет, сгрызет, изломает.

Мы проходили на широкую лесную дорогу, она выводила на «Егоркину сечь»,[1] а за сечью уходила вправо. Мы по-

---

[1] „Егоркина сечь" получила свое название в память о следующем событии. Годов десять назад артель человек в шесть, в том числе и Егорка, гнали здесь смолу. Жили здесь же, в хате, построенной на манер не то барака, не то легкого шалаша. Как-то пятеро товарищей ушли, а Егорка остался один и под вечер вышел посидеть на

шли по взгорью, тропкой. Солнце опускалось. Палево-оранжевыми тонами расплывалось вечернее зарево в темнеющей зеленой листве; пески, блестевшие в полдень серебром, теперь озолотились, но не горели, а чуть мерцали, как миллионы огненных светлячков. Сечь засумерничала. Птицы смолкли. В лесу благословенная тишина. Ветер не шелохнет. Не хрустнут сучья, не скрипнет могучая сосна, не завоет, не застонет вечерний зверь. Тишина. Только мы идем — говорим.

— Не присядем? Устали, чай, — говорю ему.

— Это я-то устал? Нет, я никогда не устаю. Вы не смотрите, что шестьдесят мне годов. Я ходить-то ой как горазд! За мной, бывало, в монастыре ни один монах не угонится. Возьми да возьми, отец Пафнутий, с собой, говорит, ежели иду куда. Ну, думаю, пойдем. А отойдем десяток верст — я, говорит, отдохнуть бы... Нет, говорю, взялся итти, так идем без отдыху. А итти иной раз от Оптиной на Белев, тридцать пять, сорок верст! Я, знаете, всегда без отдыха на Белев-от хожу!

— Как это вы, — спрашиваю, — до этих лет здоровье свое сохранили? А и силы-то, кажется, немного у вас.

— Силы немного, да сила тут и не нужна. А первое — здоровье надо, второе — привычку, а третье — сноровку, уметь надо ходить-то. Сноровка вот она в чем — ровно итти надо, не бежать, а особливо в гору. По дорожке-то выбираешь, где сухо да твердо, а в грязь да песок не лезу, лучше обойду. Надсадишься — и устал. Вторая часть — привычка. Это тоже есть у меня, много ходил, все тридцать лет пешком в лесах ходил. А насчет здоровья — и здоровье

крылечко. Другие рассказывали, что он даже сидел в избе. Вдруг наскочил откуда-то волк, сгреб Егорку и изгрыз до такой степени, что, когда воротились товарищи и переправили Егорку в больницу, он вскоре там умер. Так сечь с тех пор и зовется „Егоркиной сечью".

сохранилось, что на бога жаловаться. Здоров. Можно сказать, и не хворал никогда. Только разве простуда какая легкая...

Я посмотрел на его изнуренное, бледное, аскетическое лицо, удивился — какое тут здоровье! Вспомнил, как он изо дня в день часов по десять-двенадцать в церкви отстаивал, все-то тридцать лет, где тут быть здоровым!

— Вот оно еще отчего у меня сохранено здоровье, — продолжал Борис Федорыч, — я ведь с женщинами всю жизнь так и не знался. А кто знается, да часто, тот все здоровье размотает. Взять собаку цепную — она всегда крепче, чем беглая какая... Али быка. Одно дело бык на своде, другое дело, когда сам он шатается по стаду от одной к другой..

— Неужели никогда, Борис Федорыч?

— Никогда! — твердо ответил он. — У нас много таких было, что никогда. Отец, помню, Варсонофий до девяносто двух лет дожил, так и помер без женщин... Вот тоже ходить любил! Ходит, все ходит по лесу, и все один, с палочкой только. И разговаривает сам с собой. Где его заслышишь, бывало, как тетерев курнычет: «Вот, — говорит, — елочка, а откуда ты, елочка, такая красивая? Как тебя создали, кто, и как развилась ты такая?» — задает себе вопрос и сам на него отвечает... Все курнычет, все курнычет... Любили мы его, очень уже чистую жизнь свою провел, словно и нет на нем ни пятнышка, прямо в рай уйдет. Ни обиды, ни ругани, карты ли, вино али што. Разве это, говорит, можно, чтобы нюхать даже вино. Грех это неотмолимый...

— А читать *любил?* — интересуюсь я.

— Мало. Не читал. Все думал больше. Я ему говорю однажды: «А вот, отец Варсонофий, пишут, будто солнце больше земли». — «Кто тебе сказал, кто видел, кто ме-

рил?» — «Да пишут»... — «Мало ли што пишут, а ты не верь. Не верь. Оно, солнце-то, всего с решето»... Не верил.

— Темный был человек, — скрепляю я.

— Не верил. А чистый был... ай, как чистый...

— И что же, строго у вас в монастыре насчет женщин было? — спрашиваю я Бориса Федорыча. — Неужели так-таки и не знал никто?

— Как не знать, знали. Тайком, а знали. Так ягоды, грибы, варенье баба принесет продавать. А разрешалось им продавать и в монастыре. Келья у каждого своя, особая. Ну, глядишь, позовет туда. Тары да бары, самоварчик поставит, и кто их знает, что там делают. А заметит кто — сейчас же донесет.

— Ну, и что?

— Что — наказанье, на поклоны больше...

— Это как «на поклоны»?

— А вот в трапезной мы закусываем, например, а он все время, виноватый, поклоны тут кладет. На день, на два...

— И ничего, слушались?

— А то как? Коли не послушает — живо его уберут из монастыря. У нас строго. Иные не выдерживали. Два-три раза попадутся, да не в силах, видно, претерпеть — уходили из монастыря. На волю уходили.

— И навсегда.

— Нет. Больше все опять приходили. Кто испытает, редко уходит вовсе из монастыря. Ведь и старичок этот, Варсонофий покойный, его от нас в солдаты взяли, он не был еще в ту пору прикреплен... а крымская война. Взяли и взяли. А отбыл солдатчину — и опять к нам... Да и сам кто уходил, всегда почти возвращался. Чего тебе еще? И одет, и обут, и сыт постоянно, ни о чем не думай, не печалуйся, не заботься — все-то у тебя готовое, ни семьи на шее нет, ни обузы дел мирских. Только в церкви, а то вся

твоя воля... И это вот, что заботы не было, это тоже здоровье наше, монашеское, сохраняло.

— Да, — бормотнул я механически, желая продолжить разговор о женском деле. — А разве нельзя было в деревню? Там шашни какие-нибудь завести? Уходили же вы...

— Видите ли, моста через Жиздру не было, а паром один. На реке паром, а у парома денно и нощно монах стоит, сторожит. Никак было невозможно, чтобы в деревне. На той стороне деревень не было, сторожки одне... Нет-нет, ничего не было. Это в штатских монастырях, где жалованье монахи получали, там другое дело — и карты и пьянство, а у нас всего-то только в двунадесятый праздник архимандрит по стаканчику подносил...

— Архимандрит по стаканчику, — пошутил я, — а у себя в келье по ведерку.

— Да што говорить, насчет этого еще и так случалось — у которого деньги были. Только редко.

— А в келье обстановка у вас как — хорошая была?

— Всякая, — отвечал Борис Федорыч. — Была и плохая, была и хорошая. А у старших — загляденье одно!

— Значит, жили ничего себе?

— Что говорить, хорошо жили, вот и вздыхаем теперь — не видать уж больше нам такого житья...

Миновали Егоркину сечь. Прошли песчаными оврагами. Тут с одной дорожки то и дело перескакивали на другую — сходились они со всех сторон. В лесу заметно потемнело, но путь все еще был виден довольно отчетливо. Скоро и котельниковская сторожка показалась.

— А не прошагать ли на Гремячкино? — предложил Борис Федорыч.

— Что это — сторожка?

— Сторожка. Версты полторы будет.

Пошли на Гремячкино. А как дошли:

— Нам уж не до Анохина ли? — предложил снова Борис Федорыч.

— Кто это Анохин?

— Володя Анохин, сторож... Версты две-три. Совсем тут рядом. Притом же он знаком мне хорошо.

Тронули до Володи Анохина. Чаща все гуще. Дорога уж сливалась, когда ушли за Гремячкино. А пошли зелеными тоннелями, тут и вовсе не видно ничего. Забились куда-то в болото, насилу вылезли. Присели на бугорке, закурили. Разговор перескакивал по случайным темам: рожь дешева стала: взяточников много, что и прежде; утки перевелись и т. д., и т. д. Насчет взяточничества и пример привел Борис Федорыч.

— В Дешевках мужик есть. Умный мужик. Ну и хитрый. Самогонку-то он гнал, это верно, а сам, значит, слесарем был. Стамески там разные, гвозди, молотки на дому — инструмент всякий, и трубки к тому же разные. А милиционер Бобров уж такой был жулик, что уж, господи, извини! Со всех по четыре шкуры драл. И задумал мужичок этот изловить Боброва. А как ты его изловишь — ловок, каналья. Позвал он троих таких же мужичков. «Подошлите, — говорит, — Боброва, скажите, что самогонку гоню». Явился Бобров. Ночью. И трубочки эти самые нашел. «Ага, — говорит, — подлец, ты самогонку гнать, честной народ спаивать, советскую власть подрывать?! Я, — говорит, — тебя, подлеца в тюрьме теперь сгною за такое дело»... Ну, повел... А тот ему сначала, Боброву-то: «Прости да помилуй, не стану больше». Притворился, значит. «Не пущу! Не могу пустить такого подлеца! — кричит Бобров. — На то мы и власть сторожим!» Ну, ведет. А мужичок ему дорогой пакет. Взял Бобров, перевернул с ладони на ладонь. «Сколько?» — говорит. — «Пятьсот миллионов»... — «Не врешь? — «Ей-богу, нет»... — «Ну,

ступай, подлец. Считать не буду. А ежели обманул — смотри у меня, спокаешься!..» Как это только он от Боброва, мужик-то да в город, да в уголовное... Так и так. «Чем можете доказать?» — спрашивают. — «А я, — говорит, — ему пятьсот дал вот такими-то деньгами, и вот они все номера денежные у меня переписаны, а копии у таких-то вот троих мужиков есть»... Все тут дело это и раскрылось... Посадили Боброва. Сидит. Суд скоро... Вот они дела-то какие бывают, — посмотрел на меня Борис Федорыч через очки, — каковы!

— Ловко, — говорю, — очень ловко.

Мы присели на пригорочек, где было посуше, закурили. Борис Федорыч покуривал только чужой, своего не покупал принципиально — чтобы не приучиться вовсе, как говаривал он, и ухитрялся ежедневно за последние четыре-пять годов выкуривать по десятку папиросок у разных знакомых. Покуривши, тронулись дальше. «Тут рядом», — заявил он. Это «рядом» едва не заставило нас заночевать в лесу. Шлишли по тропинке. Глушь невероятная. Гляжу, мой отец Пафнутий начинает заглядывать на небо, приподымается зачем-то на-цыпочки, взглядывает поверх очков, озирается по сторонам. Вижу — дело неладно, заплутались. Так и есть.

— А дорога-то не та, — молвил он, — не узнаю. Этих пней не должно быть...

— Значит — поворачивать, — говорю ему. — Откуда, по-вашему, плутню-то повели мы?

— А как покурили — там было все верно.

— До курилки и пойдем.

Но прежде чем повернуть до «курилки», механически, на что-то надеясь, мы прошли вперед добрую версту. Взошла луна. Было довольно светло, и можно было без труда различать лесные тропы. Но все они под лунным светом были однообразны, и, тычась с одной на другую, мы все же не

знали, куда идем. Повернули на курилку. У лесного заворота, увидав три огромных ямы, заполненные водой, Борис Федорыч радостно воскликнул:

— Куда же я, кошель худой, повернул! Надо было направо, а я влево ушел. Вот она, сторожка-то!

В самом деле, сквозь листву виднелась крыша. Вбежали в горку, заливчатая собачонка дала знать хозяевам, что близятся гости. На крыльцо вышла худая маленькая женщина годов сорока — жена лесника, Володи Анохина. К слову сказать, Володе всего годов тридцать, и пасынки его от этой жены-вдовы ребята взрослые, старшему двадцать годов. Лесничиха насчет ночлега промычала что-то неопределенное, Бориса Федорыча не узнала, опасалась, что Володя будет недоволен. Но когда вошли в избу, и Анохин узнал «батюшку» — разговор пошел иной. Про ночлег сейчас же сообщили, что отведено на сеновале, туда отослали теперь же шубу, шинель — с Алешей, сынком годов семнадцати — красный, резвый, веселый парень! Разговорились с Анохиным.

— Все бы, — говорит, — ничего, да жить тут скучно, людей мало видишь, говорить вовсе я разучился. С семьей я переговорил уж давно все разговоры, без слов известно, что каждому делать надо — кому косить, кому доить, кому ребенка малого качать. Ездим, сторожа, один к другому, да мало того... А с детства, шестнадцать лет в лесу живу. Просто беда!

Напились мы молочка, закусили. Хозяйка рассказала еще, как два дня назад в малиннике, куда идем поутру, ревел медведь. Ничего себе, приятное может быть свиданье! А то собирала как-то малину, глядь за куст, — а босая была, тихо шла, — там мохнатая спина, сидит Миша и так-то увлекся, малину сладко уплетает, не слыхал, как подкралась она. Глянула, обмерла да тихо-тихо задний ход. Так и ушла непримеченная.

Простились, полезли на сеновал, а там, раскурив на лесенке по папироске, улеглись в душистую траву, и Алеша долго-долго рассказывал разные события скудной жизни в лесной чаще. Про соседа лесника говорил. У того ребятишки, например, так дики, что боятся людей, и как только завидят кого, закричат — шнырь, Ванька, шнырь, Петька, а сами кустами, оврагами, да все бегом, все бегом. А домой к ним в избу кто придет, под кровать или под печку забьются да оттуда и выглядывают, как мышата. Так-то живут лесовики.

Среди разговора вдруг откуда-то из угла закричал ночевавший тут Петька-пастушок, мальчуган годов двенадцати:

— Анютка, Анютка, куда, сволочь, побежала!

Засмеялся Алеша:

— Это, — говорит, — он бредит про телушку нашу, Анюткой ее называем...

Посмеялись над постушонком, а он проснулся от говора и смеха, подполз — захолодел там один-то, прикорнулся к нашим шинелям и шубам.

Недолго спали. Чуть свет, по холодной росе уж пошли в работу. Ползали в малиннике, до нитки мокрые, ждали солнышка, разгибали, встряхивали густые шумливые ветви. Наполыскали немало. День случился праздничный, Казанская, кажется (8/21 июля), и скоро ягодников насыпало столько со всех концов, что толкаться было некуда. Ушли мы с Федорычем. По дороге на Гремячки зашли, но там сечь уж совсем пустяковая, не чета ей анохинские малинные заросли. Только замучились, шатаючись по хворосту, по валежнику. Наладили ко дому. В одну сторожку зашли по дороге, в другую, молочка собирались локнуть — нет. Только у Мирошникова достали, да так ему пятерку мелочи и не нашли, за нами осталось. Мирошников — лесник — жаловался, горевал, что получает

пятьдесят миллионов в месяц. Я ему и поверил было, что горько живет человек, а дорогой Борис Федорыч пояснил мне:

— Вы им не очень на жалобы-то верьте. Слаще лесников никто тут не живет. Косят они где вздумается и накашивают столько, что торгуют этим крупно. И хлеб подсевают, огороды у всех хорошие, у иных и сады есть... Скотины довольно, да еще на пригул чужую берет — бычков, телушек, — за каждую тоже мзду получает. У него, у лесника, блинки да пирожки, сметана да всякое добро со стола нейдет. Не в жалованьи вовсе и дело у него — плюет он, конечно, на полсотню эту. Другим жив человек, и хорошо даже жив, не в пример крестьянам нашим, куда им — в четыре раза беднее живут...

Мы возвращались новою дорогой. Скоро вышли на озеро. Пришли к дому. Гордились малиной, вспоминали всё свой удивительный, такой чудесный малиновый поход.

★

Второй поход было решено устроить со «священною водицею». Недаром заводил я с отцом Пафнутием разговоры насчет монастырской пьянки, узнавал, крепко ли пили монахи, пил ли он сам.

— Пить не пили, можно сказать, вовсе, — лукавил Пафнутий, — разве только по двунадесятым праздникам архиерей поднесет, бывало, по чарочке, а больше — ни-ни...

Не поверил я его увереньям, а тут еще к разу и разговор у нас подоспел домашний. Груша, которая ходила к нему в келью «продавать сметану» и у которой он теперь годдва живет по-настоящему, Груша рассказывала по простоте сердечной:

— Выпить он — эх, любитель! Как-то нализался до того, что через тын полез. Лезет, а силы-то нехватило, ря-

сой задел за частокол, повис, верезжит: «Ай, спасите, ай, погибаю, унесите меня в лес... в лес, на деревню не надо, чтобы не видал никто!». Мы его в траву оттащили — так и проспал до ночи, а шли мы спозаранку...

Узнав из рассказа Груши, что с Пафнушей разговор надо вести по-иному, я ему и молвил единожды:

— Борис Федорыч, малина-то малиной, а еще недурно бы захватить нам в лес и водицы священной, а?

— Согласен полностью, — молвил отец святый.

— Только дряни, — говорю, — не надо... Доставать, так уж лучшего доставать...

— Значит, не самогону, а перегону? — спросил он серьезно и деловито, с полным знанием дела.

Не понимая существа того и другого, я всецело положился на мудрость отца:

— Цена высока будет?

— Разная существует, — пояснил он, — от тридцати пяти до шестидесяти... Шестьдесят — это высший сорт.

— Так, значит, за шестьдесят и берем.

Договорились, а тут наутро в Юрьичку, верст за тринадцать-пятнадцать от Сосенки, ехал мужичок из города, куда возил продавать самогон. Пафнутий ко мне.

— Денежки позвольте, я еду...

— Так скоро? — удивился я. — А как оттуда?

— Оттуда бегом добегу...

— А ваши покосы как?

— Покосы не уйдут. Надо спешить — цена будто собирается выше взять...

Дал я ему семьдесят пять, погрузился отец, уехал. Когда воротился, вид у него был таинственный и самодовольный.

— За все денежки, за семьдесят пять бутылку... А и себе половиночку взял... дорогой кончил.

У меня мелькнула мыслишка, что он выклянчил вместо шестидесяти по пятьдесят и за мое здоровье продернул половинку, да, верно, так оно и было. Но промолчал я, виду не подал, только вздохнул, пытаясь улыбнуться:

— Эк, дороговизна-то какая! Много не напьешь — как цены-то скачут!

Одним словом, бутыль была готова окончательно, Борис Федорыч даже подлил туда малинного соку — хорошо получилось.

Часиков в восемь пошли, с ночевкой. Но на этот раз не к Анохину, а решили на Гремячке побрать, заночевать же — на хуторе Котельникова, верст за шесть отсюда.

Про дорогу много говорить не приходится, места знакомые. Говорили много и про волков и про медведей, про лето, такое хмурое и дождливое — мало ли про что!

Вот и Котельники. Как черный жук, катится-заливается собачонка. Выходит и парень лет тридцати.

— Здорово, Алеша!

Сразу Алеша не узнал, а потом радостно:

— А, отец Пафнутий, здравствуйте! Пожалуйте...

Так и так, мы, дескать, по ягоды пришли, у вас заночуем, спровадь нас только на сеновал...

— Нет, што на сеновал, в избу идемте.

Вошли мы в избу. Там мать его, почтенная старушка, братья — Вася и Ваня, сестра замужняя, Федосья Дмитриевна, с ребенком Митькой возится. Скоро и муж ее, Василий Васильевич, пришел — этот где-то под Сухиничами гонит перегонку и теперь вот продал на станции сто шестьдесят бутылок, а сюда захватил с собой три с половиной. Вскоре он докладывал:

— Занятие мое, одним словом, что гоню... Гоню, что ты будешь делать! В крестьянстве нет у меня ничего, ни скотины, ни лошади, ни покосу, ни пахоты. Чем жить? Да

и не сподручны мы к крестьянству. А тут — жена, сын вон народился, другого жду... Чем кормить? Хошь и опасно, а что делать!

— А попадался, Василь Василич?

— Да нет... Я с начальством делюсь понемножку — проходит гладко. Только один раз накрыли. Пришли, все мои аппараты накрыли, спрашивают: «Гонишь?». Што же тебе тут, али сказать — не гоню? Раз попал, сознаваться надо. «Гоню», — говорю. Да просить стал. Так и так, объясняю все. «Ну, хоша и понимаем, — говорит, — твое положенье, а судить надо»... Суд нарядили — в мае месяце. «Гнал?» — «Гнал, — говорю, — хороший самогон». — «Даже хороший!» — смеются. — «Так точно, — говорю, — опыт, значит, имею, травить народ зря не согласен». Опять смеются. А я им дальше: «У которого, значит, и скотина своя, и земля, да богатый он человек — вот ежели такой гонит, он, одним словом, подлец, потому что и так проживет, без самогону, а тут есть одно только обогащенье, этот буржуй называется, а мы пролетария настоящая, потому есть нечего»... Слушали, посмеялись. А, видно, слова мои во внимание взяли. Только полтора пуда ржи заплатил, на детский дом какой-то, больше ничего...

— Ну, и опять?

— Известно, опять... Чем же кормиться-то? Да ведь как, Митрий Андреич? Вот на охоту-то сам Калинин с Троцким приезжали, на медведя-то, я сам водил их.

— Это Калинина-то?

— Да. Он мне ведь немного знакомый... Мы кирпичники. Сызмальства этим делом занимаемся, кирпичи делаем. И брат у меня тоже... Так он — брат-то говорил — правая рука был у этого самого Калинина.

— Что же он делал у него? — спрашиваю я.

— А вот с кирпичами... Видите ли, там есть Совет народного хозяйства — учреждение такое... Когда его, этот Совет, разгоняли, тогда и брата куда-то перевели на другое место.

— Да его не разгоняли, — вступился я за нечастный Совнархоз, — он существует.

— А может, и зря наговорили, я ведь почем знаю... Вы там чем занимаетесь, в Москве-то?

Я сказал — в журналах, в газетах.

— Это дело. Ну, а насчет войны што — будет али нет? — перекинулся разом Василь Василич.

И у нас поднялся тот бесконечный вопрос об опасностях войны для крестьянства, о разорении и прочем, который здесь подымается так часто. Разговорились до полуночи. Я объяснял что и как мог. Все сидели молча, слушали. На полатях темной закопченной избы старушка мать — и та не спала, слушала. Только молока нам втащила, поставила — и айда кверху. На постели Вася с Ваней, облокотив подбородки на ладони, впивались в меня взглядами, слушали все внимательно, затаив дыханье. Завлек их разговор-рассказ мой.

Когда пошли на сеновал, все гурьбой провожали: кто светил, кто нес одеяла, покрывала... Легли. И сотни невидимых кровопийц тотчас впились в тело: блохи, вши, невидимые камушки, налетели, зазвенели комары, полезла за пазуху сенная труха... С час ворочались мы и почесывались с Борисом Федорычем. Потом слышу — и он захрапел. Вася с Ваней захрапели раньше. Такое зло-обида взяла, что спать не могу. Встал, закурил и снова встал, покурил, а заснуть так ни минуты и не сумел. Еще темная темь была, когда я разбудил Бориса Федорыча. Разбудили и Васю; он — провожатым куда-то на новую, никому неведомую глухую сечь, где уйма малины. Зашагали во тьме.

Вася, босой, впереди, по лесным тропкам, по зарослям, болотами, вязкими топями. Было хмурое дождливое утро. Деревья намокли и стряхивали на нас густые липкие капли. Высокая трава промочила брюки, мы насквозь были мокры, настроение пакостное, измерзли, задрогли. А Вася босой — и ничего, шагает. Я еще тут подумал: какие-то они особенные люди, словно из другого теста сделаны. Вот и сейчас — как ни в чем не бывало. И в армию попадет, такие будет походы отхватывать, только дивись. Тоже вот по стуже, босой или с натертыми ногами — вынесет все... Удивительный народ! У Васи нет сапог, давно ему собираются сшить, да со средствами никак не соберутся. Шли-шли — вот она и сечь. Отец святый что-то под нос себе буркает, бранится, что тьма еще темная, ягод не видит на кустах, одна ежевика тычет в нос. А дождик мочит и мочит. Сели мы под елочку, пережидаем, не минует ли. Вася на небо глянул.

— Этот, — говорит, — надолго. Все небо затянуло.

И стало нам тошно-тошнехонько.

Ан, погода переменилась. Стало светлей-светлей, скоро и голубеть начало, солнце показалось. Повеселели мы. Вася куст нашел — красна, крупна, светит, гроздьями висит. И меня позвал. Разговорились мы понемногу, и жаль мне стало Васю. Девятнадцать лет живет в лесу, здесь родился, здесь и умрет, видимо, лесником, как покойный отец его, от которого сыну по наследству и сторожка перешла. Писать-читать кое-как выучился Вася, но дальше Козельска не бывал, даже Калугу разу единого не видал. И хотел я Васе молвить доброе слово.

— А вот в Москву попал бы, — говорю, — на курсы стал бы ходить, все узнал бы. Теперь крестьянам дорога широкая. Как, Вася, наверно, хотелось бы?

Каково же было мое удивленье, когда Вася спокойно мне сказал:

— Нет, я из лесу никуда не уйду — в лесу хорошо... Мы навсегда в лесу... Вы тут потише, к бревнам-то, — повернулся он ко мне, — под бревнами осы.

И действительно, зашипели осы, вылетели, я от них карьером. Бегу и думаю: «Каждое-то бревнышко в лесу знает, куда ему отсюда... Конечно, лес ему дороже». И больше с Васей о прелестях города ничего я не говорил. Каждому свое.

У меня, гляжу, и малина-то сорная, мелкая, листья, а у Васи ягода к ягоде, а как будто и берем все время в одном с ним месте. Поди ж ты! Набрал он кузовок, мне насыпает.

— Я живо еще наберу, Митрий Андреевич.

И действительно — живо нащелкал второй. Когда Вася ушел, остались мы вдвоем с Борисом Федорычем.

— А не тяпнуть ли? — предложил святый отец.

«Ах, ты, шельма, — думаю, — среда сегодня, постного не ешь, а выпить только давай».

Выпили по одной — за собранную малину. По второй — за малину, что соберем. А третью и не помню за что — кажется, за солнышко. Только поднявшись — покачивались, и вместо малины в глазах мерещились какие-то яблоки красные. Однакож и очухались понемногу, добрали свои кузовочки. Малины тут пропасть! Перед уходом Вася такой разговор со мной держал — хитрецкий разговор.

— А в Москве у вас пьют?

— Пьют, — говорю, — и отлично.

— И самогонку пьют?

— Тоже пьют — что придется.

— А вы самогонку не пьете?

— Редко случалось — не нравится.

— А если больно хороша? — сверлил Вася и лукаво засматривал мне в глаза.

— Если уж очень-то хороша — выпью...

— А как, Митрий Андреевич, только в своей компанье пьете али и так, с другими?

— С хорошими людьми, — говорю, — всегда я, Вася, выпить люблю...

— Вы вчера вон как говорили — нашим-то понравились...

— Да и они, — говорю, — хорошие люди, я с большим удовольствием разговаривал с ними. Хорошие люди, тоже понравились мне.

— Так вот что, — смекнул Вася, — как малину соберете, заходите к нам — угощенье будет!

От удовольствия рассмеялся я, поняв, как тонко Вася допытывался.

— Это они тебя, — спрашиваю, — научили — разузнать-то, выпытать у меня?

— Они, — потупил он глаза. — Отец-то, говорит, знаем, что пьет, как лошадь, а насчет вас сумлевались, робели... Зайдете?

— Зайдем, зайдем...

И мы зашли. В саду под ракитой накрыли столик, поставили самовар, грибков отварили; хлебом нуждаются, хлеба не было, да, ладно, свой у нас остался — выложили.

Сначала «перцовочки» — это самогон с перцем, потом «малиновой» — это все тот же самогон с малиновым соком, а дальше чистая пошла... Скоро я охмелел. Помню только все Тузик — собачонка у ног моих ластилась, да Василь Василич рассказывал, «как строил в Москве Метрополь», т. е. кирпичи доставлял с завода. Больше не помню ничего — уснул под ракитой. А отец святый, говорили, весь самовар допил, — ведра полтора, знать, было.

Ввечеру он меня разбудил.

— В поход пора...

Я был все еще в беспамятстве, однакож поднялся, обнялись мы со святым, тронулись, мотаясь из стороны в сторону.

Эх, и компания! По узкой тропке врозь пошли — я передом, разогнал верст на восемь в час, все боялся, не сесть бы, — усну тогда мигом. А он сзади, гляжу, мотается, в руках у него белая салфеточка, идет и кадит, идет и кадит салфеткой-то. Что-то мурлычет про себя.

С версту отошли, он кричит:

— Стой, друг, я малину рассыпал!

Вернулся я, стали подбирать.

— А сапоги где у тебя? — спрашивает.

— Почем я знаю? Может, забыл...

— Вернемся, — говорит, — захватим...

— Нет, — махнул я рукой, — завтра приду.

Так и пошли. Обернусь я и вижу, как он поспевает, бросается из стороны в сторону, а ряса эта, хламида, словно колокол качается.

— Эй! — крикну я густо.

— Э-э... — отвечает глухо батя.

— По которой? — кричу ему, увидев, что дороги расходятся.

— Бери влево...

И сыплем дальше.

На Егоркиной сечи встретилась ватага сосенских девушек, на ночь тоже по малину идут. Загуторили, зашумели, спрашивают что-то меня про ягоды, а я чувствую, что язык от нёба оторвать не могу, качу дальше, только что-то невнятно промычал: буль-буль-буль...

Глянули они, удивились. А навстречу новое чудо — отец святый, идет, мотается из стороны в сторону. Как глянули на него, поняли все.

— Да он пьяненький, — пропищала чья-то малая девчушка.

Они и давай дергать его за рясу, толкать его во все стороны. А отец как умер на месте, ни слова. Кто-то под-

толкнул его в зад, и отец под смех девичий также молча продолжал дальше свой путь.

Сапоги, оказывается, мы потеряли, девчушки нашли их по дороге, наутро занесли. А я было и в сторожку ходил, там все всполошились, забеспокоились. Ну, кончилось все по-наилучшему. Только голову крепко ломило, да нутро все выворачивало после этого дивного похода.

Лунным вечером — на лодке по Сосенке. Чудесные места, вьется она зеленой медяницей. Берега в камышах, в зарослях, а лоно чистое, светлое, тихое. То здесь, то там затоны, заводи... А по горе — гигант сосновый лес. Глушь, дичь, тишь, красота сказочная!

УЕЗЖАЕМ

Через неделю, в будущую пятницу десятого едем в Москву. Прости, Сосенка. Полюбил тебя. Расстаюсь с болью сердечной. Будет время — приеду когда-нибудь, к этой красоте ужели не приехать!

А теперь уж хватит. Тоска начинает забирать без работы даже в этой чудесной глухой стороне. Так и не привелось видеть ни лося, ни медведя, даже волка не видел, одни его свежие следы на песке. Мы уедем в красное пекло, в Москву. А они все тут останутся — и на серое, хмурое ненастье и на глухую темную зиму, кругом в сугробах, под стоны метели, под волчий вой.

Кругом леса. Какая красота — и какая тоскливая жизнь!

20/X 1923 г.

СТАНИЦА НАТУХАЕВСКАЯ

С Новороссийска утром мы приехали на Тоннельную — это небольшая, но узловая, важная точка. И тут же на станции встретили носильщика Андрея Ивановича Савченко — привлек честным, добрым лицом. Ему без разговоров, без справок отдал я на хранение до-завтра свои вещи.

— Возница, э-гей!

— Могу. Вас сколько, куда едете?

— В Натухаевскую, двое.

— Могу. Один у меня еще найдется по пути...

Мы сели в «дилижанс», как тут зовут тарантас, и покатили. Третьего не нашли, так двое и ехали весь путь.

Мы катим по «соше», как говорят местные люди, на дилижансе, берем поворот за поворотом, стучим по гладкому твердому ложу укатанной, словно каменной дороги. Пыли почти вовсе нет, неоткуда ей браться: с укатанного пути не взлетишь, на сочной траве — нема. Дорога хороша определенно, мы весело журчим. Солнце, воздух, зелень, веселье в сердце!

За Семигорьем нагнал было авто, злорадно вздумал обогнать, но вдруг: тр-р-ры... тр-рах! и — стала машина.

Мы укатили. Он снова догнал и снова сорвался на самом обгоне. Наш дилижанс раньше авто прибыл в станицу.

А вот она и Натухаевская. Как там, в степи, с гор, такой

же простор и здесь, в станице. Улица широкая, пустая, мертвая. На шестах греются-сушатся крынки, ведра, огромные пустые мокотры. Какая-нибудь старушенция возится в пустом просторном дворе у дворовой белой печурки, готовит пищу работникам, что вернутся ввечеру. На дворах много пристроек — сараев, клетушек — то для животных, то для птицы; все это изрядно поразрушилось, только теперь начинает возобновляться, заново строиться, чиниться.

Как выйдешь на двор из хаты, тут обычно и столик под тяжелыми сливами, вишнями, терном — столик в глухой тени; за этим столиком в часы отдыха любит за чаем посидеть казацкая семья.

*

До позднего вечера станица стояла тихая, бессловесная. Но вот стемнело, съехались с полей пахари, управились бабы-девки со скотиной, заправились парни, вышли с гармоникой на площадь, к тому месту, где стоит изба-читальня. Здесь все в куче, возле центральной площади. Здание совета, две небольшие комнатки, где по стенам развешены разные декреты и воззвания, где висит плакат, агитирующий за заем: стоит рослый умнолицый крестьянин, протянул руки, взывает: «Бери, не то будет поздно!»

Здесь же, в этом помещении, почта. Впрочем, на почте сидит лишь сонливый мальчишка, заряжающий негодный карабин.

В этом центральном месте стоит и изба-читальня.

Собравшаяся у избы молодежь уж через десять-пятнадцать минут оттрепывала казачка, за казачком — польку, за полькой — вальс. То ли постыдным считалось, то ли смешным — парням смешиваться с девушками на таких летучках-плясках, но плясали только парни с парнями, девушки — одна с другою. Удали в плясе не было — и оттого, что утомились

в поле, да и не любит эта молодежь так вот сразу, случайно объявить всю свою плясовую удаль; для этого нужно и место, и время, и повод подходящий; это не грузины, которые одинаково бурно могут с кинжалами и бубнами отплясывать наурскую, возбуждаясь от первого шлепка подошвой по земле, от первого удара в таз. Плясали вяло, как бы по обязанности, как бы только на закуску трудному рабочему дню. И одеты девушки запросто, скромно; парни — в рубахах, в казацких шапках, иные только в фуражках или наголо, большинство же все еще и жарким летом — в шапке. Пока тут плясали, в избе-читальне открылось заседание комсомольской ячейки. На повестке дня стояло утверждение протоколов двух заседаний бюро, доклад о пионерском движении и кой-что еще, под заголовком «разное». Комсомольцев собралось человек двадцать, столько же и не явилось, как показала перекличка (партийцев в станице двадцать человек). Стали выкрикивать кандидатуры в председатели собрания, назвали пять-шесть, а на седьмой открывший собрание паренек заявил:

— Ладно, хватит и этого, больше не принимаю.

И начал голосовать, причем двоим голоса подсчитал, третьему, Лысенко, считать не стал, а, окинув сощуренным взглядом собрание, заявил:

— Надо быть — единогласно.

Ни воздержавшихся, ни против не опрашивал.

— Единогласно.

Остальных, однакож, проголосовал, причем одному также на-ура объявил:

— Десять — за, воздержавшихся нет.

Окончив процедуру, выкликнул Савченку за стол, и тут — рослый, нескладный — протискался на эстраду небольшого, забитого молодежью зала. Савченко цену себе, видно, знал, он громко и властно заявил, что никаких разговоров не по-

терпит, а сразу приступает к повестке дня. Никто не возражал, да и времени не было. Позднее десяти, десяти с половиной часов, а иным ведь завтра по заре на работу. Зачли протокол № 9; в нем перечислялось, как распределена была работа среди членов бюро.

— Короху — пионеры. Савченку — стенгаз. Полунову — батраки. И т. д.

В этом и весь протокол. Возражать никто не стал, утвердили единогласно. Во втором протоколе, № 10, было много разного, а самым главным — организация в станице своей площадки. Дело будет делаться не завтра, а в воскресенье, рано поутру, когда едва ли все работают по своему хозяйству. Завтра на работу выйдут и семьдесят человек красноармейцев, отпускаемых подивом — одним словом, смычка станицы с дивизией. Говорило человек шесть, все о необходимости явки на работу. Когда голосовали, один воздержался.

— Почему? — спросили его изумленно.

— А потому, что зря голосовать я не люблю, а у вас и все так: как голосовать — единогласно, а как дело делать — нету вас никого... Кто пришел прошлое воскресенье площадь убирать, кто? А голосовали али нет? Не то что, а просто единогласно. Вот почему я теперь и отказываюсь...

Парня стали урезонивать, говорили, что он обязан все равно подчиниться, что он даже не имеет права и воздерживаться при голосовании. Он не возражал.

Но протест его прозвучал серьезно, укоряюще, он помог тому, что на завтра все собрались.

Вожак пионеров, девушка-казачка доложила о небольшой своей работе с ребятами, как делала с ними два собранья, как водила их в экскурсию. В общем — из тридцати ребят осталось четырнадцать, остальные расползлись, не было чем их удержать. Поговорили о способах заинтересования,

о форме. Теперь я уж не помню всех вопросов — их было много, их разбирали до двенадцати с половиной.

И странно было видеть, как дети этих вот старорежимных казаков, все еще чтущих домостроевские способы жизни, как они за-полночь расходились со своего комсомольского собрания, пели свои песни, звонко смеялись. Новое, новое, новое!

Вечер до ячейки сидели мы под сливами во дворе, пили кислое вино. Пава Павлыч весь зарос волосами, только виднелись черные добрые глазки, — они улыбались тепло и ласково каждому, с кем Пава говорил. Трудная, голодная у Павы жизнь! Взрослые дети вовсе почти не помогают, забыли старикову семью. И сапожничает он с утра до ночи, а потом каждые три-четыре дня ходит пешком на Тоннельную, едет там на каком-то облегченном поезде до Новороссийска, продает там наработанное и взамен покупает хлеба, мяса, что только надо, покупает и кожу на новую работу, и всю эту тягу, иной раз пуда в полтора, тащит, старый, на горбу.

У Нины Ивановны, у старушки жены, четырнадцать годов болеют почки, и, сердешная, стонет из часу в час, подмоги никакой ниоткуда не видит. Сынок Георгий сделал было девушке соседке ребеночка и заявил родителям, что по срочным делам едет в Майкоп. Мать все знала. Она ему устроила баню, пригрозила чуть не проклятьем родительским, обязала на девушке жениться. Нечего делать — женился Георгий, так и живет, ни шатко, ни валко. А жена ему все равно как чужая, не любит он ее, бьет, не хочет носить как цепь на шее. Другой сынок, Женя, задумал в комсомол. Мать — на дыбы:

— Это против-то бога? Да никогда! Только через труп мой материнский можешь ты в эту комсомолу войти... Нипочем, ни за што не разрешу!

И парень было попризадумался. Но тут приехал этот московский седой агитатор, тетка Катерина, и она ему шепнула слово:

— Подавай, записывайся, а я поговорю с матерью сама. И поговорила. Детям-де ходу не будет никакого, ежели в комсомол не пойдут, затрут их вовсе, да и родителям несладко будет жить... И пошла-пошла...

Тогда Женька наутро:

— Мама, а я подал...

— Как подал?

— Да не то подал, уж приняли.

— Подлец ты, подлец! — сказала мать.

А сама уж подшиблена была Катерининой агитацией.

— Уж шут с тобой, ступай коли в комсомолу, только... только в бога верь, верь в бога, сынок!

И Женька с покорным, смиренным видом обещал ей быть хорошим комсомольцем и верить в бога. Катерина слушала и смеялась, а Женька, чтобы показать свою верноподданность Христу, на глазах у матери зажжет лампадку. После он, как матери нет, все время от этой лампадки и прикуривает: выгодно и мило!

Вот женщина: может шуметь против большевиков и комсомола, проклинать их на чем свет стоит, а сама попов видеть не может, сама в 1918 году, когда белые рыскали по Майкопу, вылавливали комиссаров, прятала в поленнице трех комиссаров, сделала им в дровах закутку, со всех сторон ее заложила дровами, спускала туда им сверху пищу, сама рисковала жизнью. А теперь — поди ж ты!

Ехали мы рано утром на Анапу. Это скучный, тошный городок на манер большой станицы. По пути встречались авто, один за другим — они торопились к утреннему поезду на Тоннельную.

День праздничный, казаки едут по гостям — из станицы в станицу, едут семьями в тех же ноевых ковчегах, огромных арбах. Едут на быках, медленно, томительно. Встречались по пути стада баранов; шли бараны тупо, сбившись один к другому, опустив головы. Это нагоняло скуку, это гармонировало с общим настроением степей. Кой-где по пути хутора. У хуторов размашисто цветут репей, крапива и полынь, у хуторов красуется светлолистая верба, серьезный, замкнутый дуб, сочноперые клены, душистые, нежные акации. У хуторов, как в оазисах среди пустынь, приятно-приятно отдохнуть.

Неподалеку от хуторов — бахчи. На бахчах арбузы, дыни, помидоры, разные овощи, которых мало посажено в придворовом огороде. По хуторам казаки живут еще крепче, чем по станицам, — зажиточные, живучие казаки. И все как-то больше на них одежа защитного цвета; видно, не мимо прошла тут гражданская война, и вряд ли казаки эти стояли за советы, — похоже на то, что советы они уколачивали.

За полями кукурузы и подсолнухов снова луга, за лугами поля снятого хлеба, а там опять подсолнух, кукуруза — и так весь путь. Не по нам эти места — север любит иные картины, северу прежде всего подай глухой шумный лес, северу дай и луга и поля, но дай их в поречьи, за берегами красавиц-рек, как ленты врезающихся серебром в сердце края.

Октябрь 1925 г.

ЦК

Сами мраморные колонны скажут тебе, что дело здесь крепкое. Туго двери раскрываются в Це-Ку, всей силой надо приналечь, чтобы с воли в нутро попасть... Вошел. Два вечных — днем и ночью — два бессменных очередных часовых: «Ваш билет? Нет? Пропуск. Потрудитесь взять у коменданта». Обращенье рассчитано на международные визиты — так осторожно, что самому покойнику Керзону не к чему придраться. И думаю я: «Это наши-то, сиволапые? Ну и ну!» Пропуск-билет провел меня сквозь строй. Я у лифта. Забились втроем в кабинку и промеж себя: «Вам куда?» — «А вам?» — «А вы, товарищ?» — «Я в Агитпроп». — «Я в отдел печати». — «Мне к Сталину»... — «Молотов вызывал»...

Или не попал я в ящик — лечу по массивным лестницам скоком, бегом, лётом, пока не смучаюсь на четвертом этаже. А народу, народу навстречу! То сверкнут по-звериному жадные глаза кавказца, сверкнет его шашка, кинется в глаза его прекрасный причудливый костюм. То, растрепан и чаден, мчится и того гляди сшибет тебя с пути какой-нибудь малый из провинции — в грязных худых сапогах, в разъеденной кожаной тужурке, в кожаной фуражке, отлетевшей на затылок вихрастых соломенных волос. Лицо и бледно и желто, движенья болезненно-нервны, порывисто-остры; он, верно,

мечется по лечебным комиссиям, ищет возможностей проскочить на курорт. А вот вынырнула слабосильная горбатая седая старушка — она чуть плетется вниз, держась за глянцевые каштановые перила. У старушки в руке портфель. Кажется, и портфель-то держать сил у ней нет, а вот поди ж, значит где-то еще работает, куда-то спешит-торопится тоже черепашьим старческим ходом. Она покрякивает, покашливает и, когда кашель особо забьет, останавливается, бьет в кулак, бухает, а потом проходящим товарищам смотрит в глаза, как виноватая, своими крошечными потускневшими глазками. Это тоже большевичка, я ее знаю, она работала еще с Ильичем в 90-х годах прошлого века, всю молодость отдала борьбе, всю жизнь отдала борьбе, скиталась по ссылкам, сотню раз была арестована — теперь пришла в свой штаб, в ЦК, где много ее учеников, ее воспитанников, ее старых знакомых по борьбе. Проползла старушка вниз, а там замелькал сквозь лестничную решотку цветной халат не то сарта, не то татарский; на голове тюбетейка, на ногах какие-то ходоки-сандалии-лапоточки. Этот тоже сюда пришел по каким-то своим делам — может, из Самарканда, может, из Татарии — кто его знает откуда. Пошевеливая черным жестким усом, болтая на ходу раскаченным портфелем, вдруг быстро заскакал по приступкам Сталин. Кто узнал его — поклонился. И вот замелькали-поскакали вверх и вниз, вниз и вверх — то знакомые, то вовеки веков не виданные, то чисто бритые, то заросшие и чумазые, то одетые с булавочки, может быть, приехавшие откуда-нибудь из Берлина, то наши засаленные прохоровцы, путиловцы, наши рабочие — главная сила штаба.

Я забираюсь все выше, выше — мне надо на шестой этаж. Миную Агитпроп, Отдел печати, приемную сокретарей ЦК — там тишина изумляющая.

Дохожу. Пройду по коридорам, где ковры, где такая же, как всюду, тишь и чистота. Да, ЦК — это штука! Это настоящая и сильная штука! Какая тут мощь — в лицах, в походи, в разговорах, во всей работе этого гиганта, этого колосса-механизма. Какая гордость и какой восторг охватывает тебя, когда увидишь, услышишь, почувствуешь эту несокрушимую мощь своего штаба! Идешь — и сам могучий в этом могущественном приюте отчаянных, на все решившихся людей, и ничем не дорожащих ради того, чтоб добиться поставленной цели.

Да, это — дело. Это — штука. Здесь не пропадешь, тут воистину в своем штабе. Эх, ЦК, ЦК! В тебе побудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь!

23/IV 1925 г.

НАЩОКИНСКИЙ [1]

(Посмертные эскизы)

В Москве есть такие переулочки, их немного. Рядом, в сотне шагов, автомобильный гул, оранье площадей, людская сутолока целый день и ночь, насквозь, а тут, в переулке — тихо.

Словно из другого царства, доносятся глухо сюда гомоны человеческой жизни. Бульканьем капель весенних журчит злой, фыркающий грохот мрачных грузовиков; гороховой россыпью добегает сюда трескучее, резкое клокотанье телег грузовых по камням мостовой; шопотом-шелестеньем плавают в тихом переулочке сотни и тысячи звуков, то слабых, то внятных — они наполняют переулочек какою-то странной, не-своей жизнью. И справа шум, и слева шум. Там проходят торговые магистрали, там много движенья, там много народу, там большая, настоящая Москва. А этот вот наш переулочек — он встал незаметный поперек магистралям, как малая косточка в горле, и так притулился робко, что там его, поди, и не замечают вовсе.

Что тут за жизнь? Малая.

---

[1] Печатаемые нами эскизы „Нащокинский“ были написаны тов. Фурмановым незадолго до смерти

В переулочке двадцать домов. Он никому не нужен для сообщения, потому что им никуда не пройдешь в боевые и торговые центры. Кругом вот пройдешь, везде будет близко, а по нашему — нет никому пути, словно живет он только сам по себе, сам для себя. И потому ни грузовик, ни легкий авто, ни извозец сюда не заглядывают. Они попадут разве только уж в редком и славном случае, когда вздумает к дому подкатить кто-нибудь из переулочных жильцов. Да бывает еще — заблудятся. Скачут-скачут где-нибудь по свету, да по шуму площадному и — джик сюда, словно от греха мирского в монастырскую тишь. Заскочут, очухаются, встанут — в растерянных глазах вопрос: «Господи, где это я?» И на-ура прокатят сквозь.

В виду малого движения, переулочек наш в мохнатых, древних каменьях; те каменья стоят, поди, сотни лет, их не разбивает, не выветривает суета разъездная, у нас меж каменьев даже густо и весело зеленеет трава.

Домов в переулке немного, и все они разные. Есть и на манер больших московских чудаков, есть и серые — бревенчатые, как вот бывают по провинциальным городкам; они всегда будто потны немного и стареют очень заметно, у вас на глазах, — то тут, то здесь серые ребра будто в гангрене начинают темнеть, чернеть, сгнивают до дыр. Тогда начинается возня — заботы — хлопоты. Приходят какие-то люди, их караулят другие, обходят, ощупывают старого сердягу, начинают его подкармливать-подлечивать, штопать заплатами. И ничего—опять живет. Не знаю я, кто живет по домам в переулочке, даже кто у меня за стеной живет — не знаю.

Московская жизнь — она ведь особенная, зачем тут знать соседей, да и где с ними встретишься? У меня свое житье, у него свое. Я ухожу на работу в девять, он в двенадцать. Он приходит в четыре, я в двенадцать. Когда нам встретиться? Когда узнать, да и зачем?

Так и живем — не знаемся. Но я знаю, например, что напротив живет старушка-портниха; у нее сквозь газовые занавески окон всегда видать, как повертываются женские фигуры, охорашиваются перед зеркалом, как их сама старушка оглаживает и охаживает одну за другой. Когда мне летним днем случается быть дома, я вижу в окно только эту одну, немножко скучную картину. Я знаю еще, что в соседнем доме живет учительница пения. Ну, это уж вовсе ясно, почему я знаю: а... а... а... а... а... а... а... а... а! Душу вымотает, особенно летом, когда окна открыты. Приходят к ней и женские пискливые голосишки и дремучие, ревучие мужские басы. Пропадешь, как завоют! Потом наискосок, но так, что видно в окна, живут какие-то трое, пьянчужки и картежники. Пить они начинают рано, часов иной раз с шести вечера — особо по праздникам; насыщаются, видимо, медленно, питоки они ловкие — и бутылкой не прошибешь. Окна раскинуты настежь. Пьют и балакают-спорят. Пока слышишь только говорок — обычный, сносный. Нотки все выше, гуще, атмосферка накаливается, они берутся за карты. И тут начинается. Мат стоит надо всем переулком целый вечер и за-полночь, крики по переулочку необычные, переполох ужасный. Слышно, как запахивают окна, прячутся все от пьяного гвалта.

Особо хорошо в переулочке рано утром.

Солнце еще где-то опоздало, в воздухе бессолнечная тихая свежесть; она застыла над тишиной переулочка, упала нежной влагой по свеже-крашеным крышам. (Да-да. Крыши и тротуары чинил недавно весь переулок по приказу коммунхоза. Чистота стала какая, красота какая! Сами ходим — любуемся.)

В ранний утренний час на переулочке особо хорошо. Через крыши, вдаль — пустота янтарная. Кой-где над крышами чернеет радио-установка. Вон белеет труба. Это, я знаю,

из соседа-переулочка, там живет профессор музыки, брюзга и отчаянный бабник, не по годам.

Из дворика, где профессор, дуб растет, и самая вершина его видна сюда, к нам. Сколько лет вижу я эту дубовую корону, сколько раз и по весне ее видел, когда наливается зеленым соком, и по зиме видел, когда овеяна снежным пухом. Теперь осень — и корона дубовая в золоте разлуки. Как-то еще отчетливей выступили тугие, бурые стволы, еще круглей, тяжелей сделались ветви, набухшие осенними слезами, еще тоньше-четче дрожат листочки, готовые упасть...

Раннее-раннее утро. А потом — встает солнце... За солнцем — люди. Свой гомонок переулочный — тих. А вот пойдут скоро утренние кормильцы-будари.

— Рыба, рыба! Осетрина — судаки — севрюга!

— Свежие булки, булки — баранки!..

Это — самые ранние. Потом пойдут яблоки, груши, два раза за день проедут арбузы, дважды — утром и ввечеру — прокричит чумазый угольщик:

— Угли-угли!.. Угли-угли!..

И татары ходят продавцы. Они на разные, многообразнейшие лады, тона, высоты — напевают:

— Старье берем! Берем старье! Стары вещи покупаем!

Переулочек вступает в денную жизнь, заполняется тревогами и нуждами людскими. Но все в нем, все по-иному, все в нем дышит тишиной и покойностью, все не так, как на этих вот площадях, что в сотне шагов от него и ревут, и воют, и бесятся сквозь день и ночь.

ОСЕННЕЕ УТРО

Осеннее утро в дымных яблочных тучах. Воздух тяжел и густ сырой холодной свежестью. Стелется дым над багровыми терпким крышами, высушило их скупое осеннее солнце, вытерли их досуха смелые осенние ветры. Деревца, что перед

окнами, вовсе поосыпались, только держится клен, потемнелый и ржавый, трясет набухшею жухлою зеленью, словно огромными, но бессильными старушечьими грудями. Зато береза гола и черства, как ржаной сухарь, на ветру, на осеннем рвучем ветру уж не вздрагивает она зелеными кудряшками, как молодая цыганка цветными шарфами, она качается разом вся, со всею черной сетью голодных злых сучьев, и оттого становится грустно, глядя на нагую березу, открытую стужам и насмешникам — осенним ветрам. Непробудно осеннее небо, заволоклось мокрыми, липкими туманами — не видать ничего. Даже и солнцу, что глянет порой, оставило только жалкую, чуточную прорешку, словно сказали ему:

— В эту щелку тебе еще можно, а то — хватит, голубчик. Насмотрелся за лето — в туманах посиди!

И потому солнце выглядывает жалостно, за спиной у него стоят по осени тупые палачи, не дают ему воли.

В такую осеннюю свежую тишь преображается наш переулочек. Он выглядит тогда особенно задорно и смешливо, словно вот, здоровый и бодрый, поднялся с утра, умылся ранней туманной смежестью и хвастается всем:

— Глянь-ка, какой я крепыш!

И в самом деле — умытый свежестью утра, он по-особому бодр, настойчив, вызывающе весел. То-есть весел, конечно, не в гаме — нет, по-своему — в тишине. Вон, слышь, заблаговестили у Николы-на-мочалках. Мы обучились различать все звоны. Самый густой и близкий — от хра-хри, храма Христа. Этот близкий гул заполняет сквозь наш чуткий переулочек дворы, коридоры, комнаты. Хра-хри ведь рукой подать, он вот тут, над Москвой-рекой.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Сегодня проснулся я рано-рано, глядь в окно, а там светлым пухом засыпана улица: выпал первый снег. И переуло-

чек преобразился, стал так чист и нежен словно девушка в первую ночь... Не узнать его, серенького зайчика, сбросил летнюю одежку, оделся в пуховые меха на московские ядреные морозы... Крыши крыты в серебряных одеялах — густой, тяжелой пеленой упали за ночь холодные грузные хлопья. Легли и живут, не тают под ранним нежарким солнцем.

Ну, уж конечно, день свое возьмет, ну, уж конечно, поборется еще глухая осень — и не раз и не два чернотой обнажится по мостовым, по крышам, по аллеям бульваров. Но коротки дни борьбы, непобедимая идет во всей красе чудодейной серебряная девушка — зима. Осмелели черные руки березок, освежели темно-зеленые, золотистые кудри кленов, тонкие белые паутинки легли по дворам, по кудряшкам корон, до странного переменили знакомые картинки.

Пойдут холода — наши здоровые северные холода, в которых так свежи головы, так крепки сердца, так ядрены здоровым наливом работающие рабочие тела. Придет зима — свежая-свежая, легкая, бодрая, запушит, закружит в причудливых метелицах, зашумит полевыми буранами, зверем завоет по черным, в сединах засверкавшим лесам. И по нашему переулочку не простучат до весны каменные шаги мостовой — за окном будет музыка нежных хрустов и скрипов, звонкая и чистая песня зимней радости. Ну, одевай же кругом, в рукава, одевай пуховую белую шубку, Москва!



СТАТЬИ

О «ЖЕЛЕЗНОМ ПОТОКЕ» А. СЕРАФИМОВИЧА

I. ЖИТЬ — ЗНАЧИТ БОРОТЬСЯ

Около сорока лет тому назад Серафимович впервые вышел на широкий путь литературного творчества. Казачий сын — он на «вольном и тихом Дону» не нашел той воли, к которой стремился с самого детства. Картины сурового быта, неприкрытой алчной эксплуатации, самодовольства одних и глухой беззащитности других, звериные нравы «культурного» общества влекли его прочь от этой жизни. Но куда? Он долго не знал, куда ему итти. И беспомощно, как в трудной болезни, метался он в поисках верного пути.

Созрел годами, возмужал мыслью, нащупал твердую почву и со студенческой скамьи угодил в архангельскую ссылку. Путь был найден. Это был тот единственный путь, по которому в продолжение десятков лет вплоть до самых октябрьских дней все чаще, настойчивей шли лучшие сыны трудового народа, рассыпаясь по ссылкам, по тюрьмам, по каторжным трущобам — по многострадальному и тернистому пути борьбы.

Серафимович свою долгую жизнь — оттуда, из царского подполья до наших победных дней — в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнулся и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в

искушениях житейских. Никогда, ни единого разу не сошел с боевого пути, никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе, оставался и в ту пору крепок, когда упало духом иль опустило беспомощно руки так называемое «передовое общество», начавшее гнить с головы.

От первого рассказа «На льдине», до последней прекрасной повести «Железный поток» Серафимович — все тот же певец борьбы труда с капиталом, свободного строя — с царством нищеты, насилия, эксплуатации.

Осветить многолетнюю деятельность Серафимовича — это значит коснуться целой эпохи. Мы здесь минуем обзор его литературной деятельности в целом и остановимся только на «Железном потоке» — первой повести широко задуманного цикла «Борьба».

Прежде всего о содержании повести. В ее основу положено историческое событие — великий, пятисотверстный поход Таманской армии, отрезанной белыми от Тамани в 1918 г. Таманцы с непереносимыми трудностями, ценою тысяч жертв, с безумным героизмом пробили себе путь через Новороссийск, по скалистому черноморскому побережью, через Туапсе, Белореченскую вплоть до соединения с главными силами Красной армии, отступавшими сюда от сердца области — Краснодара. «Кожух», командующий первой колонной отступающих, это славный герой гражданской войны Епифан Ковтюх, ныне командующий одною из красных дивизий. «Смолокуров» — это покойный матрос Матвеев. «Приходка» — адъютант Ковтюха, Гладких, побывавший с ним не в одном боевом испытании.

Все — и местность, и лица, и самые события — все это живой сколок с минувшей эпохи гражданской войны.

Серафимовичу, прекрасно знающему украинско-казачий быт, нравы, язык, не раз побывавшему и в тех местах, где проходила Таманская армия, лично и неоднократно беседо-

вавшему с живыми участниками этого героического похода и в частности с самим Ковтюхом, Серафимовичу, обстоятельно и добросовестно изучившему весь материал о походе, — удалось в своей повести сочетать мастерство художника с богатой эрудицией этнографа, добросовестную и широкую компетентность историка с мудрым, серьезным и трезвым подходом социолога-ученого. Тем и ценно, тем и прекрасно это произведение — «Железный поток», что оню дает богатейшую пищу уму и сердцу читателя, вводит в события со всех сторон, обнажает их во всей полноте, во всей многогранности, неотразимой естественной простоте и убедительности. Эта органическая простота в творчестве Серафимовича — от глубокого понимания движущих сил жизни и борьбы человеческой.

Его не устрашат опасности, его не ужаснут «эксцессы» — он знает конечную цель, к которой, все равно, чтоб ни встретилось на его пути, пробьется бурный «железный поток» жизни. Он смотрит на все как знающий, видящий за событием его концы, словно он крепко держит под уздцы бешеного степного коня, который мечется и бьется; но наступит некогда день и час, — он знает это, — и минует буйство и угомонится бешеная конская спесь.

Серафимович умеет распутывать сложный и спутанный клубок жизни. Чуть приметно снимая один слой за другим, он обнажает скрытую сердцевину, и все становится отчетливым и понятным. И часто большое, сложное он показывает на малом, «второстепенном». Ведь отражается и солнце в крошечной капле вод!

Вот, например, баба Горпина, старуха, прошедшая с армией весь крестный путь, ночью у повозки размышляет одна: [1]

---

[1] Все цитаты по № 4 сб. „Недра".

«— А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько, так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала... родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ой, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель» (25).

Чутье Горпины устремлено по верному пути — против насильников, против «ахвицеров», против эксплуатации. Эта «баба Горпина» предстает перед нами как олицетворение «иногородней» кубанской полуремесленной, полукрестьянской массы, не имеющей острого и верного классового сознания и лишь чутьем угадывающей направление своего исторического пути.

«Та нехай ця власть подохне, як пропаде мий самовар, — говорит та же баба Горпина. — На три дня, казалы, выезжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу неделю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты. Кобелю власть. Геть казаки поднялись, як оглашении... Жалко наших, Охрима тай того, молоденький такий. О, боже ж мий милый»... (24)

Художник-социолог превосходно знает, с каким материалом он имеет дело. Когда этот вопрос ясен, тогда сами собой слагаются формы, появляется живой язык, развертывается широкое полотно разнообразной колоритной жизни.

Каков же «материал» Таманской армии? Вот он.

«Демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью, добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры и осо-

бенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас «иногородние», все это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство и хозяйственные казаки, их не трогали» (40 — 41).

Установка сделана, фундамент обнажен, теперь автору ясно, как надо строить. И тут он ни разу не сфальшивит. Он знает, что перед ним не армия промышленных рабочих, и он не даст этой своей армии ни высокой сознательности, ни глубокой органической дисциплинированности — нет; если он и даст дисциплину, то исключительно рожденную перед лицом опасности, неминуемой, верной гибели. Если и даст «сознательность», то лишь начальную, единственно законную для данного «материала».

Автор знает, что и здесь происходят переломы, что и здесь имеют место идейные сдвиги, но он покажет это осторожно, без тени ложного пафоса, без всякой фальши.

Вот, к примеру, картинка борьбы старого и нового мира, идеологического расслоения в одной и той же социальной среде. Дело происходит после боя. Собираются хоронить покойников.

«Далеко раскинулся обоз, и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Все те же синие дымки над кострами. Те же костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы, — другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куда?

— Та за попом.

— Та матть его за ногу, вашего попа...

— А як же? Хиба без попа...

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы.

— Шо ж оркестр... Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса его глотка. Як зареве, аж у животи болит. А оркестр — воинска часть.

— Оркестр! Оркестр!..

— Попа! Попа!..

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали: «Попа! Попа!» Подбегавшие молодые солдаты: «Оркестр! оркестр!..»

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце» (133 — 134).

Автору ясны заранее скрытые пружины действий, сам «материал» никогда не даст ему перешагнуть через себя. Социолог и этнограф, историк и художник живут в гармоничном согласии, в полном ладу.

«Объективность Серафимовича, — говорит тов. Коган («На посту», № 5), — сродна научно-материалистическому мышлению наших дней. Это — какое-то глубоко утвердившееся сознание закономерности исторического процесса, неизбежности совершающегося. Это сознание позволяет ему приподниматься над частным, смотреть оттуда с высоты на пеструю арену сталкивающихся интересов, хранить

спокойствие, рожденное ясным видением пути и цели. Потому он серьезен и не разбивается на мелочи, не вздыхает, не сочувствует, не негодует. Все разрешится в общем грандиозном плане истории, в котором все значительно как часть целого и все ничтожно, если подойти к нему с бесплодным субъективным настроением. Он ко всему внимателен, для него нет явлений главных и второстепенных. Все силы, момент борьбы — все на учете. В его объективности — горение, добытое знанием фактов, вдумчивой мыслью, неугасимый источник твердых уверенных действий, упорного поступательного движения по раз избранному пути» (141 — 142).

А «путь избран» сорок лет тому назад — испытан, проверен в борьбе. По этому пути от юношеских дней дошел он до седых волос.

Этот путь единственный — некуда с него итти.

II. О ТЕНДЕНЦИОЗНОСТИ И „АГИТКЕ"

Серафимовичу не нужно быть тенденциозным, ему достаточно быть самим собой. Надо только правдиво рассказать о том, за что он взялся, остальное придет само по себе. Нет нужды давать «агитку» о Таманской армии, не приходится славить ее поход, когда простое, правдивое отображение фактов исторической действительности представляет собой лучший документ и создаст лучшую славу таманцам. Может быть, надо было представить таманцев культурными? Может быть, следовало бы изобразить их сознательными, дисциплинированными и классово-организованными? Может быть, из ряда вон гуманными — «цветами» революционного, борющегося класса?

Ничего подобного не нужно. А нужно одно: показать такими, как они есть. И если уж т а к и е одержали верх, значит конец всему старому, ибо это «несовершенное» но-

вое — победившая трудовая масса — будет «совершенствоваться», у нее все впереди, будущее за нею. И потому у Серафимовича даже за самыми темными фактами невежества массы, ее некультурности и жестокости чувствуется всему этому обратная сторона, чувствуется то, что идет на смену невежеству и темноте, и идет именно этим путем жестокости и страданий. Он это темное показывает нам как художник — не как судья, и потому «не-агитка» становится агитационной.

Серафимович не стремится и не хочет агитировать — за него агитирует сам материал.

И когда у него выступает тот или иной герой, за ним всегда видишь коллектив, массу.

Рядом даются — и живой тип и вся социальная громада, которая его породила. Действия каждого лица сосредоточены, единственны, неподражаемы и в то же время они расплываются в действиях массы, потому что лицо и эта масса — едино суть. За действия одного ответственны все, действия одного характерны для всех.

И когда автор берет индивидуальное действие, оно неизбежно «агитирует», воздействует в самом широком смысле.

Художественная правда заключается в том, чтобы без утайки рассказывать все необходимое, но рассказывать правильно, т. е. под определенным углом зрения.

Серафимович так и поступает: он говорит все, даже, на первый взгляд, и самое «позорное». Но в историческом аспекте это «позорное» выступает как неизбежное, а потому и естественное.

И туман рассеивается. Без «тенденциозности» вопрос становится понятным и «агитирует» в определенном направлении. Кроме того, автор постоянно чувствует время, обстановку и среду, в которых развертывается действие.

«На войне — так на войне» — вот его лозунг.

«Из поповского дома выводили людей, — говорится в одном месте, — с пепельными лицами, в золотых погонах, — захватили часть штаба. На куче навоза возле поповской конюшни им рубили головы.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали. Нет его. Убежал. Тогда стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один из рубивших укоризненно сказал:

— Чего ж кричишь, як ризаная. От у меня аккурат, як твоя дочка трехлетка... В щебень закопали там, у горах, та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери» (132).

Или вот еще.

«...позади, в глубине тоже стали стихать выстрелы, крики, — казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезли под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него» (137).

Это — таманцы. Это не белые. Но и белые так же: «На войне — так на войне!» Здесь неизбежно в человеке пробуждается страстная охота к сокрушению. Не показать этого нельзя. Но показать надо с умением. И Серафимович так показывает, что при всей жестокости, при всей бездне невежества и некультурности масс — симпатии читателя все время безраздельно остаются на стороне Красной армии, на стороне таманцев.

III. О ПРОПОРЦИЯХ

Бывает так, что материал хорош, хороша и обработка отдельных частей, а в целом произведение — никуда не годится. И это зачастую происходит оттого, что отдельные части связаны неумело, что им уделено несоразмерное внимание, что нет художественной пропорции между этими отдельными частями.

В «Железном потоке» привлекает именно эта соразмерность частей. Как будто автор откуда-то сверху, с высоты птичьего полета охватывает все поле своих действий и хорошо знает, где ему задержаться, где промчаться карьером мимо. По существу, у него все время действует масса. На действиях отдельных лиц он останавливается реже — лишь по необходимости и вскользь.

На первом плане действует красноармейская масса, которою руководит Кожух, затем действует армия Покровского, действуют полки грузинской дивизии, действуют бойцы главных сил Красной армии, когда соединяются с ними кожуховские полки. Кругом — масса. И каждой действующей силе отводится свое место — не больше и не меньше, чем то требуется художественным глазомером и чутьем.

Было великое искушение дать поход всей «Таманской армии», т. е. всех трех колонн: 1-й, которую вел Кожух, и 2-й и 3-й, во главе которых стоял Смолокуров и которые шли за Кожухом. Там тоже было свое особенное искушение сочетать его с тем, что было в кожуховской колонне, — немалое искушение. Но автор на это не пошел, и жизнь этих двух колонн он дал лишь настолько, насколько было необходимо на ее фоне еще ярче осветить деятельность 1-й колонны, главной героини всех операций. Этим путем достигнута экономия средств, и напряженное

внимание читателя все время концентрируется на главном, на основном.

Не то что «важное» у него отметается от «неважного» — тут все одинаково важно, и каждое действие — лишь составная часть общего потока событий. Здесь только «нужное» художнику отбирается от менее нужного, и тем самым удесятеряется сила впечатления.

Автор сработал свою повесть по системе: минимум слов, максимум действия.

Он скуп на рассуждения, они ему не нужны. Основное покажет сама динамика развертывающихся событий. Надо ли говорить о малой сознательности, которая была столь характерна для отдельных отрядов на Тамани, надо ли говорить об ужасах и жестокостях? Автор даст только одну картину, и все будет ясно.

Казаки уже наскакивают на уходящих таманцев.

«Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезан нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу»...

— Добре, хлопьята, добре...

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали:

— Там перед мостом идет бой... — он (т. е. Кожух) пожелтел, как лимон, — идет бой промеж обозных и беженцев...

Кожух бросился туда. Перед мостом — свалка. Рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями; рев, крик, бабий визг смертельного испуга, детский плач. На мосту громадный затор: сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети... Тра-та-та... — из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой... стой! — хрипучим, с железным лязгом голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа, животину портить! .. Бей его! ..

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет... — прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет, и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук. Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей, жен!

Кожух, прыгнув, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту — и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами попрежнему: та-та-та... и — бумм... там свое.

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трех этажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руке, а адъютант стал пропускать по очереди» (29 — 30).

Читатель сразу видит, какая перед ним масса и что̀ представляет собою железный командир Кожух.

Часто одним только штрихом Серафимович завершает целую картину, сразу обнажает то, что было еще неясно.

Вот, например, как отдыхает табор таманцев.

«У каждого свое», — говорит автор. И он показывает это «свое», почти необычное в такой обстановке.

«— Та, Степане, проснись же, сын гуляе, — говорит одна молодка. — Який же ты неповоротливый. От я тоби сына кладу. Таскай его, сынку, за нос та за губу, — от так, от так... Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты его за губу, за губу таскай!

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно-улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись у сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будем мужиковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид меня моря пущаешь...

А мать смеется неизъяснимо радостным звенящим смехом» (26).

Или вот, по шоссе от Новороссийска уходят войска, они не в силах захватить с собою всех.

«Громадного роста солдат с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Мать вашу так и так... так вас, разъедак...

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко поднимают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нем, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-по-малу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Мать вашу так... Кровь за вас проливали... так вас и так...

С противоположной стороны в город входят казаки» (52).

Без этого одного солдата отступление было бы не столь колоритно. Калека, обреченный на верную гибель, неизгладимо врезывается в память читателя.

Третья картинка. Немецкий броненосец бьет по уходящей колонне таманцев. Гибнут люди, гибнет скот, гибнет добро. Но этого мало, надо еще одним мазком дорисовать картину гибели.

«Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью. Опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной» (49).

Так экономно, умело, пропорционально распределяет автор свое внимание на различных сторонах своей эпопеи. В этом и заключается искусство подлинного художника.

IV. МАССА ДЕЙСТВУЕТ

Построить такую величественную эпопею, как поход таманцев, на действиях отдельных лиц было бы неестественно: десятки тысяч людей не могут быть механически действующими фигурками. Кожух потому и герой, что его воля совпадает с десятками тысяч воль бойцов, которых он уводит от гибели. У Серафимовича как раз действует вся

красноармейская масса, нашедшая в Кожухе лишь наиболее полное воплощение своей воли.

Даже биография Кожуха в этом отношении чрезвычайно характерна.

«Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учоба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт. Он великолепный пулеметчик. В горах забрался в тыл с пулеметной командой, и когда турецкая дивизия стала отступать на него сверху, заработал пулеметом, стал косить, и падали *люди, как трава, рядами*, и побежала на него, дымясь, живая горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человеческая кровь может бежать в пол-колена, — но это была турецкая кровь и забывалась» (41 — 42).

И дает ли Кожух командирам расписываться под бумагой, что за неисполнение приказа им грозит расстрел; командует ли в бою; бросает ли гневно приказ своего «начальника» Смолокурова — во всем этом не одно кожуховское, индивидуальное, а характерно-типическое для всей это обветренной железной массы бойцов. Каждый из них поступил бы так, характерная установка у них у всех одинаковая. Когда действует один — здесь действует вся масса.

Особенно прекрасны у Серафимовича те картины, где масса находится в действии. Взять хотя бы уже приведенную выше картину суматохи на мосту. Или вот. С таманцами отступало несколько тысяч матросов с затопленного в Черном море Красного флота.

В одном месте про них говорится так.

«Даже в темноте чувствовалось, шли толпой буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужден-

ный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью.

Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нима.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Мать... мать... мать... Сидите тут, кашу жрете, а что революция гинет — вам начхать... Сволочи! Буржуи!

— Та вы що лаетесь.. брехуны...

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешены револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух... подумали... Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы, социалисты-революционеры, никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег, — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас пристали. Цилый бардак везете.

— А вам чего... завидно... Не суй носа в чужую дверь — оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, тудытт вас растуды!..

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась напряжением, а костры куда-то провалились.

— Хлопцы, бери их...

Винтовки легли на-изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхивая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко. Шо ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляются! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней» (61 — 62).

Полки Кожуха соединились с полками главных сил Красной армии. Поистине незабываемы эти картины встречи. Здесь ярко изображена необычайная сила переживаний.

«Те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, все смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш... веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим...

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами.

— Уррра-а!.. Уррр-а-а... а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды, несли и там, где стояла артиллерия, пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели в первый раз:

— Та у его глаза сыни...

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой, — не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нехай живе!.. Пидемо за им на край света, будемо биться за совитску власть! Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьем!.. (161).

Массовые сцены — родная стихия Серафимовича.

«Когда Приходько вышел, шум воды в ы р о с, наполняя всю темноту. У дверей на ч е р н о й земле, т е м н ы й и н и з к и й пулемет. Возле две т е м н ы е фигуры с т е м н ы м и штыками» (22).

Нельзя сказать лучше, чтобы заставить читателя почувствовать эту обстановку. Здесь ни одного слова нельзя заменить другим: из повторения эпитетов — черного,

низкого, темного — создается картина жуткой обстановки.

«Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено, присмотришься — повозки. Густо несутся храп и заливисто-сонное дыхание и из-под повозок, и с повозок, — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы тополь — не тополь, и не колокольня, присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы» (22).

Попробуйте здесь поставить какое-нибудь другое слово вместо «неугадываемых хат», и вы почувствуете, как тотчас ослабеет напряженная сила восприятия. Или такое выражение: «на улице черно наворочено». Здесь чувствуются и хаотический беспорядок, и массивность, и ночная обманчивость форм.

«Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— Коновязь, — и из-под усов густо расплывается винный дух» (22).

«Море — нечеловечески огромный зверь с ласково-мудрыми морщинками притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крики, гоготанье»... (82)

Кто был у моря, тот явственно почувствует, как этот огромный зверь «ласково лижет живой берег».

Вот описание грузинского офицера, очень много болтающего о «свободе», о «культуре», искренне убежденного, что «большевики — враги человечества, враги мировой культуры» (95). Он приготовился со своими войсками «достойно» встретить таманцев и прикончить их здесь, на горном перевале.

«Грузинский офицер с молодыми усами в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых по-

гонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда» (94).

Больше ничего о нем можно и не говорить.

Этот образ, схваченный немногими штрихами, гораздо ярче рисует грузинского, меньшевистски настроенного офицера, чем детальная характеристика.

«Кавказское солнце, даром, что запоздалое, горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня (157).

Какое это превосходное описание по точности определений, по гармонии слога, по строгости и красоте эпитетов!

Такой же красотой, такой же одухотворенностью пронизана и картина ночи.

«В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом, песни родятся близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры»... (105).

Примеры можно удесятерить, но в этом нет нужды. Повесть «Железный поток» нужно не цитировать, а читать ее всю от начала до конца — она вся написана превосходно.

Серафимович хорошо знает материал, положенный в основу произведения. Он прекрасно чувствует среду, в которой развертываются события, знает ее быт и нравы, знает язык, знает всю эту тайную гамму движения мыслей и чувств человеческих, поэтому с легкостью и уверенностью подлинного большого художника он обращается с материа-

лом своей замечательной повести и дает образцы непревзойденного мастерства.

Окунуться на несколько часов в чтение «Железного потока» — это значит освежиться в переживаниях героических революционных действий, это значит приобщиться к произведению большого художественного дарования.

Л. СЕЙФУЛЛИНА — «ВИРИНЕЯ»

Дважды прочитал я «Виринею», и дважды острое чувство боли сжало сердце, когда убили Вирку. Так тяжело бывает только при гибели дорогого, близкого человека.

Это Вирка-то близкая? Это Вирка-то дорогая? Такая буйная и распутная, такая дикая, необузданная, вздорная баба?

Помнится мне. В жарком бою вражьи пулеметы косили по нашим цепям. И падали бойцы, выбывая один за другим, разрежая ряды. В лихорадочном гуле и гаме и свисте некому было за ними следить, и кто упал, кто пропал — того не знали. Одни оставались недвижны на поле, других кто-то с тылу успевал стащить к повозкам, и там их грузили спешно, с тупым и холодным безразличьем, грузили привычно, словно арбузы — по-двое, по-трое укладывали в ряд, увозили с поля брани. Всем, кто грузил и кто увозил, было тяжело, но какою-то смутной, невыясненной болью, разом за всех и ни за кого особо.

Хмур и суров стоял командир полка, отдавал приказанья крепким и кратким словом, молча взглядывал на возы, что-то метил в походную книжку.

— Убили ротного Гришука, — сказал кто-то тихо и жутко.

Командир полка вскинул бровью и не сказал ни слова. Стоял и метил снова книжные листочки.

— Убили двух батальонных! — коротко крикнул кто-то страшным криком.

Вздрогнул командир полка, но остался на месте, сказал, как надо было сказать, сменил двоих и снова стоял — метил книжку, глядел на мертвые возы.

И вдруг не своим кто-то голосом пронзительно взвизгнул над ухом командира:

— Разведчика Пашку Сычева убили!

— Как убили? — резко вскрикнул командир.

— Убили наповал! — словно кувалдой ударил голос.

И я увидел в широких, вдруг потускневших глазах сурового командира — слезы; они сбежали торопливо на щетинистые, небритые щеки и там пропали. Это было только миг. А потом он, как прежде, стоял на посту, отдавал приказанья, метил книжку, следил возы с бойцами, снарядами, ловил летучие вести — делал то, что надо делать командиру в бою.

И когда я спросил потом командира, отчего он слезою в бою помянул Пашку Сычева, малого разведчика, отчего легче принял вести о том, что побиты ротные, батальонные командиры, когда я вспомнил ему, что Пашка Сычев — озорной буян, что Пашка не слышал никогда чужую команду, что Пашке нельзя было многого вверить — он своей волей все может кувырнуть кверху дном, когда я все это сказал командиру полка, — он проникновенным взором посмотрел мне в глаза и ответил:

— А свежее нутро у Пашки ты чуял?

И, не дождавшись моего ответа, добавил:

— Из Пашки я себе готовил смену — он был крепче и ротных и батальонных, хоть верные они были ребята. Пашка не взнуздан и дик, зато силу большую имел человек у себя в нутре. И я эту силу в нем приметил, я бы той силе и линию дал, Пашкина сила только линию одну и ждала. Ан,

не вышло. Батальонных, на место тех, других сыщем, ну, а вместо Пашки вот — поискать... Да и не найдешь... Потому — хоть чумной, да редкий они народ...

И с большой тоской в сухих глазах положил командир голову на крепкую широкую ладонь. Мы с ним больше про Пашку Сычева никогда не говорили, и я про Пашку забыл, а вот теперь, когда убили Вирку, мне вспомнился он, этот невзнузданный, непокорный, лихой разведчик. И видно, не зря вспомнился — нутро у них одинаково ядреное и свежее, сила у обоих крепкая, недюжинная.

Рассказ про Вирку короток и прост.

Невенчанная жена слабосильного «Васьки», томится Виринея в скучной, тошной, пустой жизни. Ваську бросает, перебивается с гроша на копейку, прирабатывает тут же, на деревне, по крестьянским семьям или в бараках — буйная, непокорная, неприступная. С фронта пришел Павел Суслов. Виринея «по-хорошему» сошлась с ним, живет, а когда ударила революция, втягивается понемногу и в самую борьбу. Эта полоса у ней коротка — скоро Вирка трагически погибает.

Первая наша встреча с Виринеей — во дворе, у хаты. Мы еще ничего про нее не знаем, но уж по первым словам чувствуем сразу в ней самостоятельность, неподатливость, внутреннюю силу. Тут, видите ли, инженер один ее Ваську в город послал за табаком, что ли, в скверную погоду, больного-то. Инженер пришел наведаться и вдруг увидел красавицу Вирку. Как увидал, так и приковался, не хотел уходить, — ластится, юлит, заговаривает. Другая, глядишь, польщена была бы в те времена этим «вниманьем», а Вирка словно водой студеной оплескивает «барина» своей холодной, насмешливой речью

«— Полное ведро помоев вынесла, — сказала недружелюбно. — Посторонись, барин, оболью!»

Вошел инженер в избу, нацеливается, прилаживается, как бы поудобней приступиться к Вирке.

«— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам не помешаю?

Криво, неласково усмехнулась.

— Скамейку не просидите, поди. А нам какая помеха?»

И через пару минут добавит ему еще крепче:

«— А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в нашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий что надо, мы к вам доставим»...

Это не просто норов злой и неприветливый прорвался в Вирке, это заговорило в ней протестующее сердце, это окатывает она неровню, чужого «барина», это гудит в ней здоровый инстинкт.

«— Ну, и нетерплячее у господ нутро, — говорит она. — Чего захочет, через нельзя достань, да подай. А то замается, ровно от заправдишной нужды»...

И этими словами сразу рассекает на две половинки присутствующих. На одной стороне «господин» инженер, гоняющий за дальние версты больного Ваську по личной прихоти, инженер, платящий «хорошие деньги», а на другой стороне — этот самый Васька, иззябший, продрогший, затомившийся страшным приступом кашля.

Вирка дичится и сторонится «барина» по глухой, но крепкой и верной классовой ненависти. Эта ненависть к господам и владыкам положения объявится в ней еще круче и резче потом, когда уйдет Виринея от Васьки. На молодую красавицу женщину словно мухи на мед липнут разные досужие «охотники». Вот подъехал к ней и «сам земский» — видите ли, в кухарки целился нанять. Но Вирка смекает, в чем тут дело, да во время «делового» разговора при трех мужиках, при уряднике — так ему и бухнула:

«— Ты — начальник, тебе сила дадена. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет никакой, потому что мне уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю».

Да с бранью, с руганью так и отшила земского.

Этот откатился — подъехал другой, «над многими инженерами главный», чистенький, холеный, балованный аристократик. Вирка отбрила и этого, да так отбрила — лучше не надо. Отбросила земского, отшвырнула аристократа-инженера, стала жить с мужиком-кузнецом.

Этого поворота уж никак не понять какой-нибудь Аниське, которая за счастье сочла бы попутаться с «барином», — недаром читает она Вирке выговор-нравоученье:

«— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь, как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак по крайности гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то в город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые около инженеров кормятся, погляди. Что тебе обувка, что одежа — завидки берут глядеть!.. А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошла, дак по крайности с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут»...

Вирка на это коротко ответит блудливой Аниське:

«— ...У меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай».

И вот, приходит время, встречается, сходится Виринея с Павлом Сусловым. Не то что бы Павел из очень передовых, не то что бы очень уж сознателен, но мужик он чи-

стый, честный, голова на плечах здоровая, мысль у него верная, чутье острое.

Подступил 1917-й год, революция. Павел Суслов входит в общественную работу, линию ведет на сторону большевиков. Раскололся народ: кто с Павлом, кто против. Виринея сама поняла и увидела, где настоящее дело, не пришлось ей себя ни ломать, ни перестраивать, — так же думала, как Павел Суслов. Как-то на первых днях, когда не уразумел еще всего и как следует народ, когда галдели немало за войну «до победного конца», смеялась Виринея:

«— Не терпит печонка. Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая это свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом все нашего брата зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти! . .»

Не зная и не видя путей, которыми можно провести эту встряску «до корню», не имея ни опыта, ни знанья, ни закалки соответственной, будучи в борьбе революционной человеком совершенно новым, сырым, неопытным — Виринея выходила на путь борьбы так же, как выходили тысячи, сотни тысяч, миллионы трудящегося люда: верные своему классовому чутью, толкаемые вперед всем строем господствовавших отношений, увлекаемые вперед наиболее твердыми, смелыми, сознательными.

У Виринеи в каждом слове, в каждом поступке чувствуете вы подлинную силу, богатые, но дремлющие, неразвернутые способности. Это не просто забитая крестьянская женщина, удрученная и замученная невзгодами тяжелой, беспросветной жизни, — о нет, Виринею в дугу не согнешь, Виринею не смучишь, такую недюжинную силу скоро не осилишь. Как кряж, крепкая — она отгрызается, отбивается, не поддается и, видно, не поддастся никому, скорее погибнет, а не поддастся. Не напрасно, не для красного словца сказала она земскому:

«— Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь».

В устах могутной, решительной Виринеи это не фраза, не франтоватое словцо — это дело, которое сделает она, не моргнув глазом. Потому и сторонятся все от нее, боятся задирать ее так же безнаказанно, как задирают и оскорбляют они других: все знают, что Вирка этого не дозволит, не спустит, в обиду себя не даст. Жила Вирка с Нефедом-кузнецом, блудила и бражничала открыто, — так того хотела сама. Но вот увидела Павла и затревожилась первою неясною тревогой, решила отучить от себя Нефеда. Пришла к нему в кузницу и при народе ахнула:

«— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь, в глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь, да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Да нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями испахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, топор рука подымает, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю».

И кто же не поверит тому, что «так бы она и сделала»? Все поверили. Потому и стерпели мужики от «бабы» этакую обиду, другой того нипочем бы не спустили.

Только бессильно перебранивались меж собою:

«— Ну, и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие, такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищения. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась».

Силы у Виринеи много. Только сила эта будто загнана внутрь, нет ей выхода, не к чему ее приложить. К чему, в самом деле, приложишь этакое богатство в глухой, темной, тошной деревне?

И Виринея томилась, пропадала в бунте, в разгуле, в распутстве прорывалась силой, не могла и не хотела вогнать ее в русло женского, покорного, почти рабского прозябанья.

Это верно, что больше шумела она насчет беспутства своего, чем беспутствовала на самом деле. Павел Суслов так ей и говорит:

«— Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я, вот, гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь»...

Верно сказал Павел. Эту чуткость его и Вирка поняла, оценила, оценила вообще она Павла во весь его рост, за то и привязалась, полюбила его — такая вздорная, неподатливая, недоверчивая, привыкшая видеть в мужиках только властных деспотов да хищных самцов.

Полюбила она Павла, да такой хорошей, чистой любовью, которою способны любить лишь этакие недюжинные люди, как Виринея. Она уж что-нибудь одно: или беспутствует-шумит, над собою и над людьми издевается, надо всем глумится, все проклинает, ни с чем не может смириться, — или, наоборот, полюбит вот такого, как Павел, да хорошо полюбит, нежно, чисто, не на короткие дни. Были и в прошлое время минутки, когда распахивалось нежное Вир-

кино сердце, но это были только минутки. В бараках, где вела она пустую, нудную или эту скандальную жизнь, как-то в тяжком настроеньи забралась Вирка на печку. А там дети.

«И оба мальчишки поменьше вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза большие стали и нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи...

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим хорошим голосом сказку сказывала:

— ...и скушно ей стало, и запечалилась, тишком слезу лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В этот праздник Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла, но долго на тряпье своем ворочалась».

В этакие минутки обнажала Вирка свое нежное, чистое, здоровое нутро, но редки были эти минуты, уходили они бесследно, оставляли Вирку попрежнему в грязи, в нужде, в разгуле.

Вы все время чувствуете, видите, понимаете, что тесно жить Виринее в той среде и в тех условиях, где застали мы ее при первой встрече. Не такая она обычная, не такая она смирная, чтоб жить по-серенькому и со всем и во всем примиренно.

Она уж и тогда, до революции, даже в скандальной жизни своей стоит на целую голову выше тех, что ее окружают.

В бога она уж и в ту пору не верует, глумится, издевается над чужою верою, над темным крестьянским суеверьем.

«— Бог, бог... — говорит она старухе, Васькиной матери. — Давно, поди, он сдох. Сколь лет его просишь, карежишься, отдохнула бы».

Эти смелые мысли в ту пору мог высказывать не каждый. Вирка высказывала их легко и свободно. Она вообще не считала нужным в чем-либо затаиваться, что-нибудь скрывать. Жила с Васькой, три года жила и никогда от слова своего, от верности не отступила, а решила вот уйти — сразу ушла, и тут уж не остановить ее никаким насмешкам, угрозам, мольбам...

У нее вся жизнь на виду — нечего и незачем ей скрывать, потому эта жизнь ее и кажется по первому разу столь разнузданной, бесшабашной, разгульной. По существу же, распутства тут на грош, а все остальное — это дикий, необузданный, но смелый протест против нуди, жути серых будней, невидимых и видимых кандалов, в которые хотели одеть и ее, Виринею, — протест открытый, но одиночный, а потому и бессильный, беспомощный протест против всего уклада разнесчастной жизни.

Оттого и естественны и органически законны речи и поступки Виринеи, когда плечо в плечо с Павлом Сусловым идет и она по пути борьбы. Глухой одиночный ее протест, имевший раньше и врага невидимого и путь неведомый, сливается теперь с массовым протестом против видимого, явственно видимого, коренного, главного врага:

Против всего строя старой России.

В нем корень всех бед и зол. Это остро и чутко почувствовала Виринея, потому с такою горячностью и вступилась в борьбу. Как-то раз она так разожгла мужиков, что бились они промеж себя мертвым боем, а ее насилу выпустили живой.

«— Куды лезете? — резала им Виринея. — Воевать не надоело? Солдаты чуть передохнули, а сколь накалечено. Вояку-то главного, Николашку сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль война не скончится? Кто войну кончать хочет? Большевики, только они одни и стараются, а вы... до победного конца. Гляди, дадут вам конец. Расшеперились, а сами на смерть лезете».

Поколотили ее мужики, побитая примчала домой, а Павел присмеивается:

«— Вот дак оратор... Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-а-нием»...

И Вирка вскинулась на него, на Павла:

«-- Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж, что баба, у меня тоже в голове-то теперь не только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими»...

Правда, самая речь у Вирки тут вычурная, деланная, неверная, но это уж автор виноват, а не она. Вирка же правду говорит, у ней теперь «не только об домашности думы», она все глубже, глубже вклинивается в борьбу, из нее, из Вирки растет у нас на глазах и готовится настоящий борец-женщина, беззаветная, мужественно-смелая, а в дальнейшем, верно, и вполне сознательная, передовая женщина нашей великой эпохи.

Дремали в Вирке богатые силы, пропадали без толку и так и пропали бы вовсе, ежели не ударил бы гром революции. Он сорвал с нее путы, высвободил силу, пустил ее на простор.

И уже на второй план отходит Вирка-женщина, Вирка-жена и будущая мать. Перед нами вышла на поле брани женщина могучая, непреклонная, недюжинная женщина-борец.

Как-то в разговоре Павел ей бросил:

«— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

И Виринея ответила:

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя».

Этими простыми словами обнажила себя Виринея как женщину-борца с пробужденным сознанием, готовую на все, верную во всем тому делу, которое признала своим.

Летели стремглав события.

Разгоралась, крепчала борьба.

Павел с отрядом — за пределами своей деревни. Виринея в деревне, готовит восстанье, бушует с оробевшими мужиками.

«— Ах, вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил — стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите — не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя более ждать».

Это уж настоящая работа, это уж подлинное революционное дело.

У Вирки родился ребеночек, но скоро вынуждена она оставить его, скрыться, чтоб не попасть в руки палачам.

Материнская любовь приводит ее темной ночью к избе, где любимое дитя.

А у избы засада. Вирку схватили. Вирка тут же, на месте драматически кончает жизнь. И когда ее уж больше нет, вы особенно явственно начинаете чувствовать и понимать, что это ушла большая, сильная личность, что драма-

вшие и пробужденные в ней революцией силы и в десятой доле не нашли еще своего приложения, что вся она была в будущем. Вот почему так тяжело, когда погибает Виринея. Вот почему вспомнился мне геройский разведчик Пашка Сычев, у которого не были развернуты во всю ширь могучие силы — но силы эти были, и силы эти чувствовал, видел, понимал суровый безошибочный командир полка.

ЗАВЯДШИЙ БУКЕТ

Перед нами букет литературных течений: неоклассики, неоромантики, символисты, неоакмеисты, футуристы, имажинисты, экспрессионисты, презантисты, эклектики и ничевоки.

Представители этих школ, течений и групп продемонстрировали недавно в Политехническом музее свои литературные «кредо». На литературу мы привыкли смотреть как на отражение жизни; в литературных произведениях за словами и образами мы привыкли видеть идеи и настроения, которые волновали творцов, а вместе с ними и общество, их породившее, воспитавшее и питающее своими соками. От литературных произведений мы привыкли ждать и бодрых призывов и смелых дерзаний, ярких надежд и веры, веры, веры в победу! Пусть душно и тесно было прежде, пусть живые образы Щедрина, Чернышевского, Успенского, Горького были одинокими (а еще более одинокими и гонимыми были песни пролетарских поэтов). Но там была идея, чувство, стремление и глубокая вера.

Эти идеи, чувства и образы помогали общественному движению, дополняли его, питали живительной влагой. Они сыграли огромную прогрессивную роль как художественные силуэты по пути раскрепощения труда и человеческой личности. Родства с жизнью, дополнения к ней, соответ-

ствия ее требованиям и общим тенденциям — мы в праве требовать от каждого значительного художественного произведения.

Речь идет отнюдь не об утилитаризме в искусстве, не о приспособлении его к узко-практическим целям — мы говорим лишь о необходимом соответствии искусства основным тенденциям жизни. Есть ли это соответствие в том душистом букете, про который упомянули мы вначале? Судите сами.

Основной тенденцией нашего исторического периода является борьба с неправдами старого мира.

В это понятие борьбы вмещается необъятное содержание, которое и должно послужить источником художественного творчества. Эта центральная тенденция эпохи — борьба — должна пронизывать все художественные произведения, — только тогда они могут иметь какую-либо ценность как произведения общественно-необходимые, и только тогда они будут представлять собою не балагурство и самоуслаждение, а поистине ценные и общественно-полезные произведения.

Трудно, конечно, говорить обо всех школах разом, у каждой есть кое-что свое, но, кажется, уж обо всех безошибочно можно сказать: 1) что общественно-полезных элементов в них нет, 2) что тенденции эпохи они не схватили, 3) что все они являются не прогрессивно-динамическими, а застойно-затхлыми и не отражают идеологии борющихся и идущих вперед. То течение, которое все эти элементы в себя включило, течение пролетарской художественной мысли и слова — на заседании литературных школ представлено не было. Это и хорошо. Его присутствие внесло бы сюда дисгармонию, нарушило бы и некоторое внутреннее единство.

Характерной и симптоматичной фигурой был Гальперин, представитель «неоклассицизма». Он прочел свое произ-

ведение «Особняком» — произведение, которому бурно хлопала почти безраздельно вся аудитория, включая и поэтов представителей других школ и течений. А содержание у «Особняка» самое незамысловатое. Поэт, видите ли, идет сам по себе, не соприкасаясь с жизнью, не замечая ее, не чувствуя и не принимая. То, что совершилось в России, что бродит в целом мире, что является альфой и омегой не только российского, но и общечеловеческого прогресса — борьба со старым миром его не занимает. Он идет один, «особняком». В этом он видит свою поэтическую миссию, свое историческое оправдание. Здесь сказалось все: брезгливый индивидуализм проклятого старого мира, привычка играть в «величие», поразительная общественная неразвитость и тупость, филистерство и мещанство, не видящие дальше своего носа, и тоска, тоска по разбитому корыту.

Аудитория бурно приветствовала «смелого» поэта, выставляющего так откровенно свое реакционное, обывательское «кредо».

Надо сказать, что заявлять себя открыто реакционером сделалось в известных кругах своеобразною модой.

Так, например, недавно в той же аудитории небезызвестный христианин Булгаков, проехавшись по поводу большевистского «патриарха» Маркса, высказал несколько громких протестов растревоженного обывателя.

Аудитория, видимо, стоила своего идеолога-поэта.

Погоня за новыми словами, оригинальным выражением, охота до пафоса и причудливых поз является отличительной чертой большинства этих разрозненных группочек. Насколько они мелки, можно судить по заявлению Адалис (неоакмеистка): «Нас было трое: Антокольский, я и еще один». Или по выступлению двух «презантистов», пытавшихся прочесть только-что изобретенный ими «Свод за-

конов презантизма». Некоторые группочки насчитывают своих членов и последователей единицами и уповают, что «все великое начиналось с малого». Это стремление к дроблению и самостийности также является характерным для скептически настроенных мелкобуржуазных идеологов обывателя. Общее впечатление — словно они аккорды расстроенной гитары. Тошно и безнадежно. И это теперь, когда так много мыслей, красок, образов.

Оторванность от живой жизни, отчужденность старых школ и течений от борьбы ведет их совершенно естественно туда же, куда и породившее их старое общество, — в могилу.

Еще нетверды шаги нового боевого искусства, но чувствуется уже в нем могучая сила, укрепляющая его на месте погибающих течений и школ.

СОДЕРЖАНИЕ